

М. ГЕРШЕНЗОН и А. КОГАН

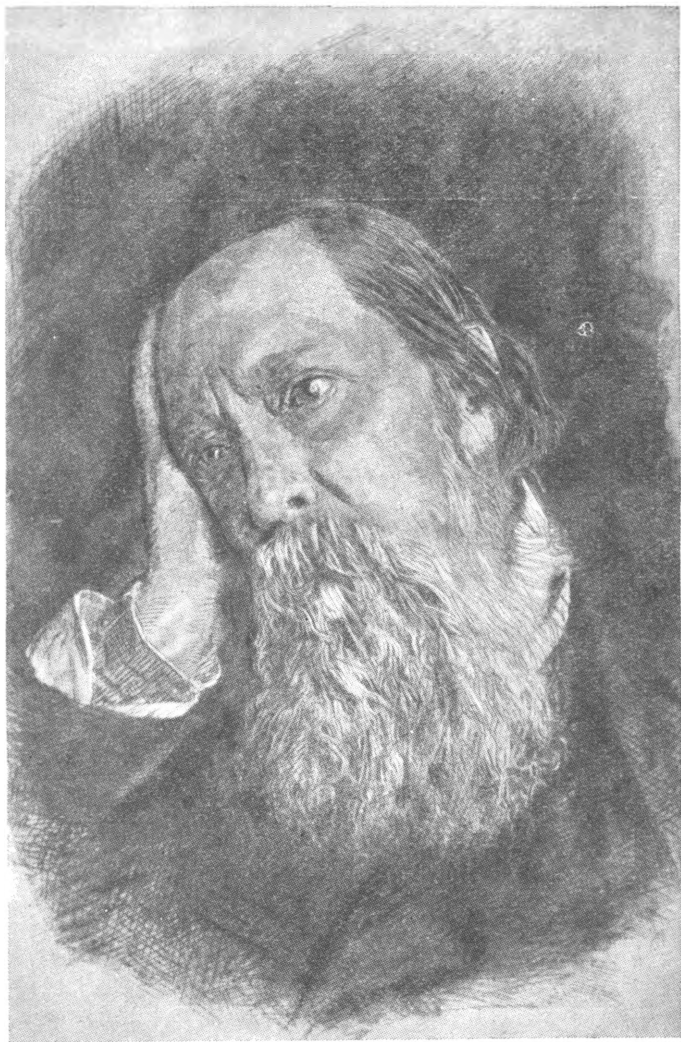
М.Е.
САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН



1939

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА





М. Е. Салтыков-Щедрин.

Офорт В. Матэ.

М. ГЕРШЕНЗОН и Л. КОГАН

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Биографический очерк

**Центральный Комитет
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи
ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1939 Ленинград**

НАХОДКА

К крестьянке Прасковье Грязновой, работавшей когда-то в имении Салтыковых, приезжих привела учительница. Жила Грязнова в покосившейся избе — бывшей барской бане.

Приезжие стали расспрашивать старуху, не осталось ли у нее каких-нибудь бумаг от старых помещиков. Прасковья Грязнова глядела на них недоверчиво.

— Бумаги-то есть. Много их было когда-то, — нехотя выговорила она.

Понемногу Прасковья Грязнова разговорилась.

— Как же, покойный Евграф Васильевич ведь зятем мне приходился! Вот когда сгорел барский дом, пришел он ко мне и попросил принять на хранение целый ворох бумаг — все, что уцелело от пожара. «Вы, — сказал, — матушка, берегите их. Эти бумаги большую ценность имеют: тут и Михаила Евграфовича, дяди моего, есть рука. А дядя мой — он был великим человеком». Разные были — большие листы и маленькие. И тетради были.

Приезжие переглянулись. Сюда, в село Спас-Угол бывшего Калязинского уезда бывшей Тверской губернии, они приехали, чтобы найти остатки семейного архива великого русского писателя.

— Ветхие были бумаги, — продолжала Грязнова, — на оклейку — и то не годились. Ну, конечно, сперва берегла их. А потом думаю: что им лежать бестолку? Ну, и пустила их в дело. Иной раз на газеты сменяешь. Газета — она для оклейки способней. А потом не

стала — обманул тут меня один. Какой-то приехал нездешний, забрал много разных бумаг, обещал газет прислать, да так ничего и не прислал. Ну, на топку-то эти листочки годились. Дров тут никак не напасешься. Если б вы не приехали, я бы и всё сожгла: вон избато у меня какая холодная... Замерзать, что ли? Все равно сколько даром растащили...

В глазах ее снова блеснуло недоверие. И учительница и приезжие поспешили ее успокоить.

— Ну, а листочки, которые получше, посохранинее были, те на оклейку пошли, — добавила Прасковья Грязнова и указала на стену возле окна.

У окна, на стенах, на потолке наклеены были в несколько слоев листы почтовой бумаги, закопченные, засиженные мухами.

И первое, что бросилось в глаза приезжим, — ровный и острый почерк, знакомая рука Михаила Евграфовича Салтыкова. Строки местами читались ясно, местами смутно проступали сквозь заскорузлый клейстер.

Хозяйка не сразу разрешила приезжим отклеить драгоценные листки. Она объясняла, как трудно ей было оклеить избу:

— Стены щелястые, как наледишь, так бумага и лопнет. А муки, а муки сколько извела! Ну, разве что оклеите заново газетами, — сдалась она наконец.

Учительница тут же сбегала в школу и приволокла пачку старых газет и журналов. Тетка Прасковья смягчилась и сама вскипятила воды. Долго и бережно отпаривали ученые от стен и от потолка лист за листом. Они не могли утерпеть и тут же принимались читать старые письма, влажные еще и горячие.

— Вот приказ отца Щедрина! — сказал один из приезжих.

И, с трудом разбирая строки, он прочитал:

«7-го января 1807 г. Москва.

Лебедянской моей вотчине деревни Скороварова.

Прикащику Ивану Познякову и всем крестьянам.

П р и к а з.

По получении сего моего приказа немедленно обратиться всем крестьянам на мирскую сходку и со всех тех крестьян, на коих есть недоимки положенного господского запаса, взыскать вдвое недобранного... И ес-

ли впредь кто будет слушаться и не давать положенного... у того крестьянина взяв при мирской сходке его имущество, какое он имеет, наискорейшим образом хоть за дешево продать, а следуемые за недоимку по расчету деньги ко мне прислать, а сверх того, слушника на мирской сходке высечь нещадно, и сие мое повеление наблюдать в самой точности...

Помещик ваш Евграф Салтыков».

Ученых ждала еще более важная находка: они отклеили с потолка письмо, написанное великим сатириком из Царскосельского лицея, — единственное детское письмо Щедрина.

«...У меня из ученья и поведенья по 8-ми в результатах. Но, любезные родители, я из ученья при конце курса буду непременно третьим или вторым, потому что я был сначала 16-м и вдруг в один месяц перегнал 4-х. Я бы был и из поведенья 6-м, но главною причиною, что я 10-м, г-н Беген, этот человек достоин всякого презренья; я вам расскажу об этом все подробно...»

Приезжие готовы были расцеловать свою неграмотную хозяйку, тетку Прасковью. Хоть так, хоть на потолке, она сохранила это драгоценное письмо! Перебивая друг друга, они спешили разобрать выцветшие слова:

«Берите, любезные родители, Библиотеку для чтения за 1839 год, еще если можете берите...»

Эти строки были в самом низу страницы; тут стоял крестик, и приписка, вверх ногами, сделана была на верхнем поле листка и сбоку, под таким же крестиком:

«Сын отечества — 40 руб. и Отечественные запи...» Тут несколько букв стерлось, после пропуска стояла цифра нуль.

«...записки — 50 рублей», догадались ученые.

Они разобрали дальше:

«Эти журналы не хуже Библиотеки. Московский наблюдатель поправился: вместо 20 книжек выходит 12-ть и стоит 45 рублей. Прощайте, любезные родители, остаюсь сын ваш, Салтыков».

Несколько минут приезжие молчали.

— Подумать только, — сказал один из них: — ведь мальчику было тогда тринадцать лет! А он уже не

только читал журналы, но судил об их качестве. Что значит фраза «Московский наблюдатель поправился»? Письмо датировано 1839 годом. А в 1838 году этот журнал взял в свои руки Белинский. Значит, мальчик заметил, что изменилось направление журнала?

Приезжие сумели завоевать доверие тетки Прасковьи. Они не пожалели для нее газет. И тетка Прасковья, окончательно побежденная, приволокла с собою «остатки бумаг». Среди них оказалось двадцать два письма самого Щедрина, целая груда писем матери и отца, теток, братьев и сестер писателя, письма, прошения, завещания, приказы управляющим и другие документы семьи Салтыковых.

ДЕТСТВО

Долго изучали биографы Щедрина эти листки, выцветшие, залепленные мукой, покрытые плесенью. Тем дороже, тем драгоценней были эти спасенные чудом бумаги, что мало сохранилось сведений о детстве и юности писателя. Известно было и раньше, что в своих книгах — в «Пошехонской старине», в «Господах Головлевых» — Щедрин нарисовал картины собственного детства, незабываемые портреты своих родных — крепостников. Теперь биографы могли сопоставить художественный вымысел с подлинными документами, с точными фактами о жизни семьи Салтыковых. И они убедились, что Щедрин в этих книгах правдиво описал свое детство.

В «Пошехонской старине», повествуя о быте помещиков Затрапезных, он вспомнил и «маменьку» свою, и братьев, и весь уклад крепостнического хозяйства.

Господский дом стоял на пригорке. Дом был неуклюжий и больше всего походил на комод. В нижнем этаже расположены были мастерские и кладовые; два верхних этажа занимали господа. Вокруг дома в беспорядке стояло несколько флигелей, где жила дворья прислуга. При доме был сад, огороды и оранжереи. Деревья в саду всегда подстригались, поэтому тени в саду почти не бывало и гулять в нем не хотелось. Урожай фруктов и ягод был так велик, что во время сбора весь дом превращался в фабрику, где ягоды перебирали, сушили, варили, готовили сиропы, на-

ливки, настойки. Несмотря на обилие, даже господа почти не ели свежих фруктов и ягод — они считались большим лакомством. И пуще всего заботило помещицу, как бы «подлянки» — крепостные девушки — не объели ее во время сбора.

Наконец вся масса ягод и фруктов была переработана, варенье размещено по погребам и кладовым. Эти чудовищные запасы расходовались в течение года так же скупно, как свежие ягоды, и то лишь тогда, когда все начинало плесневеть, портиться. Зачем же столько наготавливать? На это отвечали: «впрок», «на случай». И каждый год повторялось то же.

Дом был просторен, но большие, светлые комнаты считались парадными, а дети (их было много) постоянно теснились — днем в небольшой классной комнате, а ночью в общей детской, «тоже маленькой, с низким потолком и в зимнее время, вдобавок, жарко натопленной». Дети спали на кроватях, а няньки — здесь же на полу, на войлоке. Кровати кишели клопами, блохами, по полу бегали тараканы. В окнах не было форточек, комнаты никогда не проветривались: свежий, чистый воздух считался вредным для здоровья.

Одеты дети были совсем плохо. Обычно платья перешивались по многу раз из старья и переходили от старших к младшим. Белье меняли редко. Няньки были одеты в какую-то невообразимую вонючую рвань.

В этом доме няньки менялись часто. Барыня, разгневавшись, прогоняла их; кроме того, она опасалась, как бы няньки не разжирили и не разленились в безделье.

Дети не успевали привыкнуть к нянькам. Они не знали ни простой мягкой ласки, ни чудесных русских сказок.

Кормили детей очень скудно. Рано утром чашка чаю со снятым, синим молоком (а на ферме стояло триста коров); к чаю — кусочек хлеба. До обеда дети едва дотягивали. В два часа все жадно устремлялись в столовую. Но обед состоял главным образом из остатков, невкусных, несвежих, иногда с явным запахом тухлятинки. Да и этой еды было так мало, что дети вставали из-за стола немногим менее голодными, чем были до обеда. Мучительнее всего был самый способ распределения пищи.

«Дети в нашей семье (впрочем, тут я разумею, по преимуществу, матушку, которая давала тон всему семейству) разделялись на две категории: на любимых и постылых, и так как высшее счастье жизни полагалось в еде, то и преимущества любимых над постылыми проявлялись главным образом за обедом. Матушка, раздвывая кушанья, выбирала для любимчика кусок и побольше и посвежее, а для постылого — непременно какую-нибудь разогретую и выветрившуюся чурку. Иногда, оделив любимчиков, она говорила постылым: «А вы сами возьмите!» И тогда происходило постыдное зрелище борьбы, которой предавались голодные постылые.

Матушка исподлобья взглядывала, наклонившись над тарелкой и выжидая, что будет. Постылый в большинстве случаев, чувствуя устремленный на него ее пристальный взгляд и сознавая, что предоставление выбора куска есть не что иное, как игра в кошку и мышку, самоотверженно брал самый дурной кусок.

— Что ж ты получше куска не выбрал? Вон сбоку, смотри, жирный какой! — заговаривала матушка приторно-ласковым голосом, обращаясь к несчастному постылому, у которого глаза были полны слез.

— Я, маменька, сыт-с! — отвечал постылый, стараясь быть развязным и нервно хихикая.

— То-то сыт, а губы зачем надул? Смотри ты у меня! Я ведь насквозь тебя, тихоня, вижу!

Но иногда постылому приходила несчастная мысль побравировать, и он начинал тыкать вилкой по блюду, выбирая кусок получше. Как вдруг раздавался окрик:

— Ты что это разыгрался, мерзавец! Ишь, новую моду завел — вилкой по блюду тыкать! Подавай сюда тарелку!

И постылому накладывалась на тарелку уже действительно совсем подоженная и не имевшая ни малейшей питательности щепка».

В то же время дети отлично знали, что в погребах стоят свежеприготовленные кушанья «на случай» приезда гостей. Кушанья обычно стояли по несколько дней, затем начинали портиться и тогда уж выдавались к столу.

Ежели так питались сами господа, можно себе представить, что доставалось слугам...



О. М. Салтыкова, мать писателя.

В основе всей этой тяжелой скупости и изнурительного скопидомства лежало одно стремление — сколотить капитал. Об этом говорили откровенно и с вожделением, говорили с утра до ночи во всех углах дома, в усадьбе. «Ты думаешь, как состояния-то наживаются?» — это было основным помыслом, основным содержанием жизни. Во всех подробностях рассказывались бесконечные истории о том, как наживались окрестные помещики, — одни всегда наживались за счет других, и при этом наживавшийся человек считался «умницей» и «шельмой», а пострадавший был «дураком» и «простофилей».

Конечно, и детские разговоры отражали эту всеобщую страсть. Как растет родительское имение, как поделит его маменька между детьми, что кому достанется — эти вопросы больше всего волновали ребят, и «постылых» и «любимчиков». «Постылые» ожидали грядущих несправедливостей, их грызла зависть к «любимчикам» маменьки.

«— Вот увидите: отвалит она мне вологодскую деревнюшку в сто душ и скажет: пей, ешь и веселись! И манже, и буар, и сортир — все тут!

— А мне в Меленках деревнюшку выбросит! — задумчиво отзывалась сестра Вера. — С таким приданым кто меня замуж возьмет?

— Нет, меленковская деревушка — Любке, а с тебя и в Ветлужском уезде сорока душ будет!

— А может, вдруг расщедрится, скажет: и меленковскую и ветлужскую деревни Любке отдать! Ведь это уж в своем роде кус!

— Кому-то она Бубново с деревнями отдаст? Вот это так кус! Намеднись мы ехали мимо: скирдов-то, скирдов-то наставлено! Кучер Алемпий говорит: «точно Украина!»

— Разумеется, Бубново — Гришке! Недаром он матери на нас шпионит. Тебе, что ли, Гришка-шпион?

— Я всем буду доволен, что милость маменьки значит мне, — кротко отвечает Гриша, потупив глазки.

Постепенно дети подрастали, их надобно было учить. И здесь соблюдалась строжайшая экономия. Была одна классная комната и одна учительница. Ученики не делились по возрастам. Старшему было четырнадцать лет, младшему — девять, и, хотя предметы были

у них разные, от такого совместного обучения толку было мало.

Главным методом педагогического воздействия были телесные наказания. Секли, правда, редко и уж за очень большую провинность, но колотушки, толчки, щипки сыпались так обильно, что часто уши детей превращались в сплошные болячки, а во время уроков дом беспрестанно оглашался стонами и ревом.

Еще чаще подвергались телесным наказаниям и всевозможным издевательствам крепостные. Тут не было разбора, всем доставалось одинаково — женщинам и мужчинам, молодым и пожилым. Старому, полуслепому повару часто объявляли, что «недосол на столе, а пересол на спине», а если в супе попадался таракан, старика заставляли тут же разжевать и проглотить его.

Только садовник мог не бояться порки: он был куплен специально для разведения и сохранения барских фруктов и ягод, и по этой причине маменька остерегалась бить его. Она заплатила за него довольно дорого, и ей не было расчета ради минутного каприза «ухлопать» затраченный капитал.

Может быть, наибольшим зверством отличались наказания, которым подвергались крепостные ребятишки.

Однажды маленький Миша Салтыков поехал с матерью к тетеньке. Тут он увидел такую страшную картину, что она врезалась ему в память на всю жизнь.

«У конюшни, на куче навоза, привязанная локтями к столбу, стояла девочка лет двенадцати и рвалась во все стороны. Был уже час второй дня, солнце так и обливало несчастную своими лучами. Рои мух поднимались из навозной жижи, вились над ее головой и облепляли ее воспаленное, улитое слезами и слюною лицо. По местам образовались уже небольшие раны, из которых сочилась сукровица. Девочка терзалась, а тут же, в двух шагах от нее, преспокойно гуторили два старика, как будто ничего необыкновенного в их глазах не происходило.

Я сам стоял в нерешимости перед смутным ожиданием ответственности за непрошенное вмешательство, — до такой степени крепостная дисциплина смиряла даже в детях человеческие порывы. Однакож сердце мое не выдержало; я тихонько подкрался к столбу и протянул руки, чтобы развязать веревки.

— Не тронь... тетенька забранит... хуже будет! — остановила меня девочка. — Вот лицо фартуком оберти... Барин!.. Миленький!..

И в то же время сзади меня раздался старческий голос:

— Не суйся не в свое дело, пащенок! И тебя к столбу тетенька привяжет!»

Когда много лет спустя Салтыков в «Пошехонской старине» вспоминал эти картины, у него вырвался крик отчаяния и протеста:

«Кто поверит, что было время, когда вся эта смесь алчности, лжи, произвола и бессмысленной жестокости, с одной стороны, и придавленности, доведенной до поругания человеческого образа, — с другой, называлась... жизнью?!»

ЦАРСКОЕ СЕЛО

19 октября — это был священный день для Пушкина — годовщина Царскосельского лицея. Через всю свою жизнь поэт пронес любовь к лицу:

Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастье куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

Через всю свою жизнь он пронес любовь к «друзьям своей души» — Кюхельбекеру, Пущину, Дельвигу. За несколько месяцев до смерти, в октябре 1836 года, он снова вспомнил друзей юности и счастливые дни лицея:

Всему пора: уж двадцать пятый раз
Мы празднуем лицея день заветный,
Прошли года чредою незаметной,
И как они переменяли нас!

За четверть века переменялся и лицей. Это увидел Салтыков, поступивший в Царскосельский лицей в 1839 году. Ничего здесь не осталось от прежнего вольного духа. Давно Аракчеев превратил лицей в военно-учебное заведение.

Пушкин писал:

Вы помните: когда возник лицей,
Как царь для нас открыл чертог царицын,
И мы пришли. И встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей.



...привязанная локтями к столбу, стояла девочка...

Рисунок Кукрыниксы.

Теперь не было ни Куницына, ни Малиновского, ни Энгельгардта. Салтыкова встретил директор — генерал Гольтгойер, невежественный солдат, который заботился только о том, чтобы в лицее была строгая военная дисциплина. С воспитанниками он держал себя сухо и резко, по-солдатски; телесные наказания были единственным способом воспитания, который он признавал. Правой рукой директора был шпион и доносчик Оболенский; у него был один только талант: подслушивать за дверями.

«И наставники и преподаватели были до того изумительные, что ныне таких уж на версту к учебному заведению не подпускают», писал много лет спустя Салтыков, вспоминая свои лицейские годы.

Среди негодяев и подлецов, которые заместили в лицее Куницына и Малиновского, был один хороший человек — профессор русского языка и словесности Георгиевский. Но это был человек недалекий, ничего не смысливший в литературе. Дальше Ломоносова и Державина он не пошел. Пушкина он считал шалуном-романтиком, а Гоголя и вовсе не знал. «Человек удивительно добрый, — вспоминал о нем Салтыков, — но в то же время удивительно бездарный».

Переменились не только преподаватели лицея — переменялись и воспитанники. Сейчас лицей готовил для аракчеевской России министров, сенаторов и посланников. Не вопросы литературы, морали, философии волновали сверстников Салтыкова — они заняты были мыслями о будущей карьере, о сытом благополучии.

«В мое время последние месяцы в закрытых учебных заведениях бывали очень оживленны, — вспоминал Салтыков. — Во всех углах интерната раздавалось:

— Ты куда?

— Разумеется, в министерство иностранных дел.

— Нас, брат, там не совсем-то долюблюают...

— У меня дядя там; он похлопочет... А ты куда?

— Я... в департамент полиции исполнительной...»

Или:

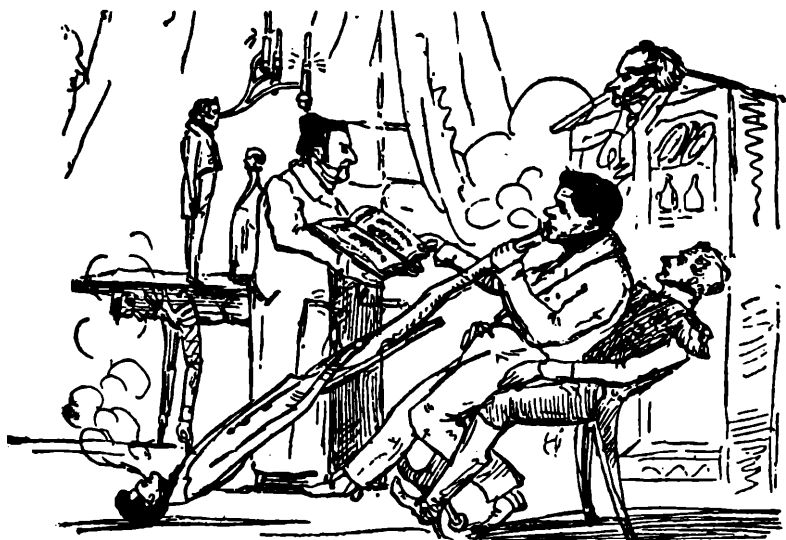
«— Тебе сколько родители на жительство назначают?

— Мне... две тысячи...

— А мне — пятнадцать!»

Наконец:

«— Ты у кого платье заказываешь?»



Из альбома лицейских карикатур. Справа налево: Гольтгойер, Оболенский, Георгиевский.

— У Сарра́, а белье — у Лепрётра. А ты?

— Я — у Клеменца...»

В такой обстановке не завязывались тесные дружеские связи. Лицей растил будущих бюрократов, стяжателей, людей, лишенных и смелости мысли и силы чувств. Одну только традицию сохранил лицей с пушкинских дней. Воспитанники Царского Села знали, что в этих стенах вырос великий поэт, и они ждали, что здесь же появится его преемник. «Воспоминание о Пушкине обязывало, — говорил впоследствии Щедрин. — В каждом курсе предполагался продолжатель Пушкина». Сверстники видели этого продолжателя в Салтыкове.

Мальчик Салтыков бродил по тем же залам, где четверть века назад бродил Пушкин, и так же грыз на уроках гусиное перо, сочиняя стихи. Созрев, он считал эти стихи плохими и «глупыми». Но именно здесь, в Царском Селе, почувствовал он «решительное влечение к литературе».

БУНТАРЬ

Петербург. Сырая весенняя ночь.

В четыре часа утра к небольшому двухэтажному дому подъехала карета. Из нее вышел жандармский генерал и сильно постучал в дверь.

Пока отпирали, хозяин натягивал старый, облезлый халат, один рукав которого был совсем оторван у плеча. Приходилось сначала надевать халат без рукава и уж потом, отдельно, всовывать в него руку.

Генерал вошел и назвал себя. Это был Дубельт, приехавший арестовать Петрашевского. Сцену ареста изобразил впоследствии замечательный русский революционер Герцен.

«— Будьте любезны, — сказал генерал, объявив свое звание, — одеться и ехать со мной в 3-е отделение собственной его императорского величества канцелярии.

— Я готов, — ответил Петрашевский.

— Однако, — возразил генерал, удивленный, что он, повидимому, и не думал одеваться, — неужели вы думаете ехать в таком костюме?

— Сейчас ночь, — сказал Петрашевский, — а я в это время не привык одеваться иначе.

— Так как вы не знаете, — возразил Дубельт, — с кем вам придется говорить, то я советую вам надеть более приличное платье.

— Ладно, — ответил дерзкий шалун и начал одеваться, а генерал стал рассматривать книги, разбросанные по столу и по полкам.

— Генерал, ради бога, не смотрите этих книг! — воскликнул Петрашевский.

— Почему же?

— Потому что у меня, видите ли, есть только запрещенные сочинения. При одном взгляде на них вам станет дурно.

— Почему же вы бережете такие книги?

— Это дело вкуса, — ответил Петрашевский...»

Генерал повез арестованного в страшную Петропавловскую крепость. В ту же ночь в разных концах Петербурга было арестовано еще сорок человек.

Дом опустел и надолго затих. А всего несколько часов назад здесь былолюдно и шумно, гремели страстные споры, раздавался дружный смех.

· Это была последняя «пятница» Петрашевского.

«Пятницы» собирали много народу. Здесь встречались старые лицеисты и студенты университета, учителя и офицеры, чиновники и литераторы. Здесь можно было встретить поэтов Майкова и Плещеева и писателя Достоевского. Здесь часто бывал и Михаил Евграфович Салтыков, молодой чиновник военного ведомства, бывший лицеист.

Салтыков знал Петрашевского давно. Еще в лицее его наружность обращала на себя всеобщее внимание, так решительно выделялся он из толпы будущих важных сановников и министров, бюрократов и самодуров.

Невысокого роста, стремительный и резкий, с темными блестящими глазами и живым, подвижным лицом, он был угрюм, раздражителен и неразговорчив. Он стремился к уединению. Чаще всего его можно было видеть с книгой в руках в больших залах лицея или в саду.

Не с книг ли началась их дружба? Петрашевский всегда любил давать книги, а маленький Салтыков (он был на шесть лет моложе) постоянно читал; особенно любил он горячие, страстные статьи Белинского.

Салтыков припоминал постоянные стычки Петрашевского с лицейским начальством. Ох, и не любили они друг друга!

Был в лицее воспитатель Кох. Это был человек злой, капризный и взбалмошный. Лицеисты дружно ненавидели его, а Петрашевский мстил ему, затеявая с ним длиннейшие диспуты и доводя его до иступления своими возражениями.

Петрашевский числился вольнодумцем и при выпуске получил самую низкую оценку, хотя учился хорошо. В аттестате было записано, что он поведения «довольно хорошего»; на языке начальства это означало: «поведение плохое».

Очень рано Петрашевский возненавидел николаевскую Россию. Он называл ее «смрадной» страной и говорил, что порядочному человеку в ней «нет возможности не только думать, а кажется, дышать свободно». Нужно было бороться. Петрашевский знал, что борьба будет жестокой.

Он мечтал о будущей революции в России, но по-

лагал, что она сможет произойти лишь после длительной и настойчивой пропаганды.

«...Перемена правительства нужна, необходима для нас, но переменить его нужно не вдруг, но действуя исподволь, приготовляя как можно остроумнее и вернее средства к восстанию таким образом, чтобы идея о перемене правительства не заронила бы в головы двум, трем, десяти лицам, но утвердилась бы в массах народа...» .

И он начал деятельную пропаганду. Прежде всего нужны были книги, и Петрашевский собрал великолепную библиотеку, состоявшую почти исключительно из запрещенной литературы. Эти книги он раздавал всем знакомым, иногда настойчиво навязывая их людям, которых он хотел заинтересовать новыми идеями. Всегда и повсюду искал он таких людей. Разыскивал старых товарищей по лицу и университету, беседовал с сослуживцами в министерстве иностранных дел, посещал знакомых, даже записался в «танцевальное собрание».

Постепенно он организовал вокруг себя группу единомышленников и стал принимать их по пятницам.

Собирались к Петрашевскому довольно поздно, часам к восьми-девяти вечера, и оставались до двух-трех часов ночи. Посреди большой комнаты стоял стол, покрытый скатертью и уставленный закусками, по стенам — диваны и стулья. Обычно вечер начинался с доклада одного из членов кружка. Чаще всего доклады делались о фурьеризме, о политической экономии. Много говорили о необходимости отмены крепостного права, о введении свободы книгопечатания. Мечтали о будущем России.

Что видела вокруг себя передовая русская молодежь? Произвол царя, крепостное рабство крестьян, нищету и невежество народа. Нужно изменить весь строй русской жизни. Но как? Ответов искали у философов «просвещенного» Запада. Наибольшим успехом в России 40-х годов пользовался фурьеризм — учение, посвященное критике капиталистического общества и планам переустройства его.

Одним из самых страстных, самых убежденных последователей Фурье был Михаил Васильевич Петрашевский.

«Когда я в первый раз прочитал его сочинения, я как бы заново родился; я благоговел перед величием его гения».

Вопиющее неравенство между бедными и богатыми, всегда так терзавшее Петрашевского, казалось легко устранимым, если следовать плану Фурье. Люди должны жить коллективно, учил Фурье; каждая группа должна объединиться в фалангу, которая будет удовлетворять все нужды, все потребности человека. Труд перестанет быть проклятием и станет совершенно свободным занятием, по выбору каждого. В фаланге не будет бедных, каждый будет обеспечен самым необходимым. Что нужно, чтобы установилось это новое общество? Фурье отвечал: пример. Если собрать достаточную сумму денег для организации первой фаланги, то скоро все увидят выгоды такой жизни и последуют примеру.

Итак, Фурье считал, что бороться с капитализмом можно уговором, убеждением, примером идеально организованной фаланги. Такие учения называются утопическим социализмом, то есть социализмом несбыточным, неосуществимым. В самом деле, разве можно уговорить капиталиста стать социалистом?

После докладов все высказывались о слышанном, спорили, иногда разговор касался литературы. Плещеев и Майков читали новые стихи. Здесь же Достоевский читал свою «Неточку Незванову».

Впоследствии Салтыков вспоминал о «пятницах» Петрашевского: «Каждый вечер обсуждались самые разнообразные и смелые вопросы политической и нравственной сферы. От этих бесед новая жизнь проносилась над душой, новые чувства охватывали сердце, новая кровь сладко закипала в жилах...»

Жандармы давно обратили внимание на еженедельные собрания у Петрашевского. Поведение молодых людей казалось непонятным и подозрительным. В карты не играют, вина не пьют, а все время разговаривают, о чем-то спорят... Председателя с колокольчиком посадили... Тайное общество? Царь Николай I крепко помнил декабристов.

Вскоре среди гостей Петрашевского появился провокатор, присланный жандармами; обо всем виденном и слышанном он немедленно доносил начальству.

В 1848 году во Франции произошла революция, свергнувшая королевскую власть, и свободные веяния с новой силой хлынули из Европы в Россию.

С восторгом и надеждой ждали друзья Петрашевского известий из Франции.

«Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас... Словом сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное, — все шло оттуда», вспоминал много лет спустя Салтыков.

В России жить стало еще труднее. Напуганному царю и трусливому правительству всюду мерещились заговоры.

А когда в одной парижской газете Николай I прочитал заметку, в которой говорилось, что «у русского царя скоро станет много своих хлопот», он отдал приказ немедленно арестовать всех петрашевцев. Одному из арестованных было только четырнадцать лет.

Следствие тянулось восемь долгих месяцев. Двадцать одного человека приговорили к смертной казни.

В ясное зимнее утро к месту казни подъехала двадцать одна карета; в каждой — по одному приговоренному в сопровождении двух стражников. По обе стороны каждой кареты — конные жандармы. На площади четырехугольником выстроились войска; они окружали высокий помост с поставленными на нем столбами.

Петрашевцы, худые, замученные, бледные, выходили из карет. Они еще не знали приговора...

Осужденных выстроили и повели вдоль рядов войск, заставив с четырех сторон обойти эшафот. На них была та же одежда, что и во время ареста, — весенняя, легкая... А сейчас было холодно, ноги проваливались в глубокий снег...

Когда кончилась печальная церемония обхода, петрашевцев ввели на помост и прочитали приговор: «...Полевой уголовный суд приговорил всех к смертной казни расстрелянием, и девятнадцатого сего декабря государь собственноручно написал: «Быть по сему».

Приговоренных облачили в одежду смертников — белые саваны с капюшонами, закрывавшими лицо, — и поставили к столбам. Прокатилась барабанная дробь. Против приговоренных встали солдаты и прицели-

лись. На огромной площади, заполненной войсками и народом, стало тихо-тихо...

Внезапно грохнули барабаны, дула ружей поднялись вверх, и генерал объявил, что всем осужденным царь «дарует» жизнь... Страшный обряд казни оказался жестоким спектаклем, поставленным «милосердным» царем. По новому приговору, Петрашевскому объявлена была бессрочная каторга, остальным — каторга, ссылка, поселение на разные сроки.

Тотчас привезли кандалы Петрашевскому. Он должен был ехать прямо с площади в Сибирь, в свинцовые рудники. Петрашевскому заковали руки и ноги, одели в каторжный костюм. Он посмотрел на себя и сказал:

— Ей-богу, как они умеют одевать людей! В таком костюме делаешься противен сам себе.

Его торопили. Подъехала кибитка. Вдруг он сказал:

— Я еще не окончил всех дел.

— Какие у вас еще дела? — спросил его генерал.

— Я хочу проститься с моими товарищами.

Тяжело ступая в кандалах, Петрашевский обошел товарищей и со всеми простился. Потом с помощью жандарма сел в кибитку.

Когда лошади тронули, какой-то человек пробрался из толпы, сорвал с себя меховую шапку и шубу и бросил их Петрашевскому. Вскоре кибитка скрылась за поворотом.

Судьба петрашевцев могла быть судьбой Салтыкова, но его не было среди осужденных. От каторги, от Сибири спасла его другая ссылка. В это время Михаила Евграфовича Салтыкова уже не было в Петербурге.

НАЧАЛО ТВОРЧЕСТВА

Писатель Нестор Кукольник именовался «гофдраматургом» и пользовался особым расположением государя. Он был не только писателем — в военном министерстве числился он чиновником особых поручений при министре Чернышеве.

Служба у него была не легкая, так как князь Чернышев был строгим, ревнивым блюстителем служебного порядка. Случалось, чиновников своей канцелярии

сажал он под арест за незастегнутую пуговицу или цветной галстук.

Как-то, воротившись домой поздно ночью, Кукольник, по своему обыкновению, сел писать дневник. Обстоятельно, не спеша, записал он:

«21, Апрель. Среда. Терм. +5,0. Баром.: переменн». Потом подвел счет расходам:

«Булоч		12	к.
Хлеб		15	к.
Извозчики	1 р.		
Молоко		3	к.
2½ ф. коврижек		37½	к.
Хрен		3	к.

ИТОГО: 1 р. 70½ к.».

Заглянул на предыдущую страницу и приписал:

«Всего 319 р. 29½ к.».

Отдельно записал проигрыш в карты:

«Игорный счет — в карты — итого 13 руб. 95 к.».

Припомнил, как прошел день:

«Утро. Дома. Ничего не делал».

«Обед у Платона на именинах его жены».

«Вечер в театре. Жизнь за царя».

Тут взгляд его нечаянно упал на пакет, положенный на стол в его отсутствие. От директора канцелярии военного министра с надписью: «О весьма нужном». Вскрыл его, прочитал и нахмурился. Прежде чем лечь, вписал в дневник еще несколько слов:

«Ночью. Непр. история. Получ. экстрен. запис. Приказано арест. чинов. Салтыкова за какое-то сочин., напеч. без вед. начальства, в котор. оказалось вредн. направл. и стремлен. к распростран. революцион. идей, потрясш. всю Запад. Европу. Это слова государя кн. Чернышеву, который ничего подобного не подозревал у себя в канцелярии. Князь треб. к себе зайти в 12 ч.».

В полдень Кукольник вошел в кабинет министра. Князь Чернышев разговаривал с Кукольником резко, он был взбешен.

— Дам я ему проповедовать, Салтыкову вашему! — кричал он, расхаживая по кабинету. — Всякий помощник столоначальника воображает себя государственным деятелем! В солдаты разжалую! На Кавказ упеку!

Кукольник почтительно заметил, что молодой человек ни в чем дурном не замечен, в работе прилежен и исполнительен. Князь оборвал его.

— Вы имели удовольствие читать «Запутанное дело»? — сказал он отрывисто. — Нет? Так вот, потрудитесь прочесть. И это не в первый раз уже. Прошлый год еще этот мальчишка без ведома начальства напечатал в «Отечественных записках» повесть «Противоречия» — весьма, весьма двусмысленное сочинение. Ваш Салтыков забыл, что благотворением государя воспитывался в Царском Селе!

Тотчас же Кукольник послал за двумя книжками «Отечественных записок». Вернулся домой усталый и встревоженный. Он никогда не отличался смелостью. Он чувствовал, что вся судьба его — в руках князя. А князь раздосадован: сам царь указал ему на Салтыкова. И как всё вдруг! Пакет, разнос... Уж и следственная комиссия назначена!

Ночью Кукольник долго и внимательно читал «Запутанное дело» — историю о честном труженике, погибшем в борьбе с сильными. Казалось, автор спрашивает: почему огромное большинство людей обездолено, а все радости богатой и праздной жизни достались маленькой кучке счастливых? Кукольник перелистал и прошлогоднюю книжку «Отечественных записок». Потом занес в свой дневник:

«Прочел «З. д.»; тоже и «Противоречия» просмотрел; в этой ровно ничего. А в «Запут. деле» заметно некоторое увлечен. коммунистическ. и западн. революцион. идеями. Но тоже нивесь как страшно. С годами взгляд мож. отрезвиться. Но виден несомнен. талант».

Долго не мог заснуть. Всё лезли в голову тревожные мысли. «Не за что, не за что губить Салтыкова! — думал он. — Талантами мы не так уж богаты. Ну, разжалуют. Что хорошего? И мне не обратиться хлопот: стало быть, допустил, проморгал. Нет, непременно завтра поеду в крепость. Постараюсь расположить к снизводительности Набокова».

Комендант Петропавловской крепости генерал-адъютант Набоков назначен был Чернышевым председателем следственной комиссии по делу Салтыкова. Утром Кукольник съездил к нему, говорил о неопытности; об увлечениях молодости. Потом побывал у всех прочих

членов комиссии. Мягче всех оказался Набоков; другие, чином пониже, не смели свои суждения иметь, боясь накликать на себя гнев министра.

В министерстве только и было разговоров что о Салтыкове. Среди чиновников прошел слух, что разжалуют его в солдаты, упекут на Кавказ.

Наконец 24 апреля состоялось заседание комиссии. Кукольник доложил содержание повести «Противоречия». Потом принялся читать выдержки из «Запутанного дела».

«Иван Самойлыч задумался. «Ведь хоть бы этот князь, — думал он: — вот он и счастлив и весел... Отчего ж именно он, а не я? Отчего бы не мне уродиться князем?»

Кукольник вопросительно посмотрел на Набокова.

— Ну, ведь может притти такая мысль человеку необеспеченному? — спросил он. — И можно ли ставить эти строки в вину Салтыкову?

Он перевернул еще несколько страниц.

«...Уж мимо глаз пронесся огромный, неохватимый взором город, с своими тысячами куполов, с своими дворцами и съезжими дворами, с своими шпицами, горделиво врезающимися в самые облака, с своею вечно шумною, вечно хлопочущею и суetyящею толпою. Но вдруг город сменился деревнею с длинным рядом покачнувшихся в сторону изб, с серым небом, серою грязью и бревенчатою мостовой...»

Кукольник снова обвел глазами членов комиссии. Один из них, молодой адъютант, пользовавшийся расположением Чернышева, тихо и едко бросил:

— О волках, вы о волках прочтите!

Кукольник прочитал:

«В холодной комнате, в изорванном платье, на изломанном стуле сидит его жена; около нее, бледный, истомленный, стоит его сын... И все это просит хлеба, но так тоскливо, так назойливо просит...

— Папа, я есть хочу, — стонет ребенок: — дай хлеба!..

— Потерпи, дружок, — говорит мать: — потерпи до завтра — завтра будет! Нынче на рынке всё голодные волки поели. Много волков, много волков, душенька!»

Кукольник пропускает несколько строк.

«— Да ведь и вчера говорили мне, — отвечает ребенок, — что всё голодные волки поели; да вон другие же дети сыты, другие дети играют... Я есть хочу, мама!

— Это дети голодных волков играют, это они сыты! — отвечает мать, поникнув головой...»

Кукольник останавливается на этом. Но адъютант Чернышева берет у него книжку из рук, перелистывает еще две страницы.

— Вы бы это прочли, Нестор Васильевич!

«— Мама, когда же убьют голодных волков? — снова спрашивает ребенок.

— Скоро, дружок, скоро...

— Всех убьют, мама, ни одного не останется?

— Всех, душенька, всех до одного, ни одного не останется...

— И мы будем сыты? У нас будет ужин?

— Да, скоро мы будем сыты, скоро нам будет весело... Очень весело, друг мой!»

Адъютант Чернышева с торжеством взглянул на Кукольника, потом на Набокова, но Набоков вдруг громко рассмеялся.

— Однако вы далеко пойдете, молодой человек! — сказал он. — Была бы у Салтыкова такая прыткость, он бы, пожалуй, и вас обогнал по службе, — подмигнул Кукольнику генерал. Он достал табакерку, подаренную ему государем, и пощелкал по крышке. — Легкомыслен Салтыков, легкомыслен. Образумится, конечно, с годами. Всыпать бы ему малую толику по мягкому месту! — Он снова засмеялся, втянул с ногтя табак и оглушительно чихнул.

Напряжение, нависшее над собравшимися, сразу рассеялось.

Кукольник вернулся домой оживленный, повеселевший. Домашние бросились к нему навстречу с расспросами.

— Спасибо добряку Набокову! — воскликнул он. — Не за что тут, говорит, губить молодого человека солдатчиной. Глядишь, и повернули дело. Положено: представить министру об увольнении Салтыкова из канцелярии, а наказание ограничить семидневным арестом на гауптвахте. Смягчился бы только Чернышев!

На другой день комиссия в полном составе отпра-

вилась на доклад к министру. Кукольник робел, словно предчувствовал беду. И беда стряслась.

Князь Чернышев пришел в ярость, заслушав решение комиссии. Даже генерал-адъютант Набоков съежился и вобрал голову в плечи — так разошелся министр.

— Никакого снисхождения! — кричал Чернышев. — Что тут за нежности! Такие вот писаки в Европе раздули пожар. Вы того же хотите у нас? Оставьте здесь доклад, завтра я сам доложу дело его величеству!

В раздражении он швырнул папку с докладом так, что листки полетели во все стороны.

— А пока что, — добавил министр, — Салтыкова из канцелярии уволить и посадить на гауптвахту.

Члены комиссии направились уже к выходу.

— В Вятку! — крикнул он им вдогонку. — Так и доложу государю: из канцелярии уволить, выслать на службу в Вятку, под надзор губернатора.

Кукольник остановился в дверях.

— Заготовьте в этом смысле бумагу в форме письма шефу жандармов графу Орлову, — приказал ему князь.

Выйдя из министерства, Кукольник тяжело перевел дух и поднял глаза на Набокова.

— Все ж таки не в солдаты, — прошептал он побелевшими губами.

Через три дня Санкт-Петербургский комендант «сдал» молодого писателя с рук на руки жандармскому штабс-капитану для препровождения его в Вятку. Салтыкову не дали времени даже повидаться с родными, собраться в дорогу. Штабс-капитан вез Салтыкова при пакете, в котором вятскому губернатору сообщалось, что ему надлежит доносить «о направлении образа мыслей и поведении титулярного советника Салтыкова».

ВЯТКА И КРУТОГОРСК

Юноша с высоким лбом и непослушными волосами, с тонким и умным лицом вошел в канцелярию вятского губернатора. Исправник, полицеймейстер и два чиновника стояли тут, разговаривая шопотом и с беспокойством поглядывая на дверь. Дверь растворилась, и в зал вошел небольшого роста плечистый старик с го-

ловой, посаженной, как у бульдога. Он знал, что юноша, который стоит перед ним, кончил курс в Московском университете и выслан сюда, в Вятку, «за участие в тайном обществе». Губернатор поиздевался над образованностью прибывшего, потом позвал секретаря.

— Послушай, братец, — сказал он ему, — вот кандидат Московского университета. Займи его у себя в канцелярии и докладывай мне особо.

Тут он снова обернулся к прибывшему:

— Завтра вы явитесь в канцелярию в девять утра, а теперь можете идти. Да, позвольте, я забыл спросить, как вы пишете.

Юноша сразу не понял.

— Ну, то есть, почерк.

— У меня ничего нет с собой.

— Дай бумаги и перо, — сказал старик секретарю.

Секретарь подал перо.

— Что же я буду писать?

— Что вам угодно, — ответил секретарь. — Напишите: «А по справке оказалось».

Губернатор посмотрел на написанное и усмехнулся:

— Ну, к государю переписывать вы не будете...

Так начал свою службу в Вятке один из образованнейших русских людей, будущий революционер Александр Иванович Герцен.

В канцелярии было человек двадцать писцов — люди, с колыбели привыкшие считать службу средством обогащения, а крестьян — почвой, приносящей доход; они продавали справки — брали двугривенные и четвертаки, обманывали за стакан вина.

Новому чиновнику поручили заниматься статистикой. Из городка Кая он получал сведения такого рода: «Утопших — 2, причины утопления неизвестны — 2, всего — 4». Такие же точно данные получал он из других городов. Очень скоро перед Герценом открылась страшная картина невежества, самодурства, нечеловеческой жестокости, взяточничества.

Царьком этого маленького мирка был бульдог-губернатор Тюфяев. Вокруг него увивались чиновники, откупщики, заводчики. «Все трепетало его, все вставало перед ним, все поило его, все давало ему обеды, все глядело в глаза; на свадьбах и именинах первый тост предлагали «за здравие его превосходительства».

Герцен всеми силами старался своей работой принести пользу родине. Он пытался бороться с взяточниками, с тупицами, с ворами. Результат был один — губернатор возненавидел его. Вскоре юноша понял, что один в поле не воин. В руках у него было единственное оружие, которым он мог призывать всех честных людей к свержению дикого строя так, как набатом сзывают во время пожара. Этим оружием было перо.

Тринадцать лет прошло с того дня, как молодой Герцен впервые вошел в канцелярию вятского губернатора. И в ту же канцелярию вошел другой ссыльный — молодой человек, написавший «Запутанное дело».

Герцена давно уже не было в Вятке. Он закончил первую ссылку, успел побывать во второй, наконец эмигрировал за границу и в этом же, 1848 году участвовал в июньской демонстрации революционных парижан.

На месте Тюфяева сидел другой губернатор. Но ничто не переменилось в «великой Российской империи». Те же самодуры и головотяпы, те же взяточники и бюрократы окружали Салтыкова. И он, как в свое время Герцен, занимался статистикой.

Салтыков присматривается к жизни, прислушивается к разговорам. Вот один из чиновников рассказывает губернатору забавное «обстоятельство». В канцелярию пришла бумага, смысла которой никто не мог разобрать. К счастью, нашелся дока-архивариус, который, хоть и не мог ничего в бумаге понять, тотчас же настрочил в ответ другую, в палец толщиной, еще непонятнее первой. И пошел этот ответ в другую палату. А там... «ведь им больше для очистки дела ответ нужен: вот они возьмут да целиком нашу бумагу куда-нибудь и пропишут-с, а то место опять пропишет-с; так оно и пойдет».

Тринадцать лет назад такие разговоры слышал тут Герцен и точно такое же происшествие с непонятной бумагой описал в своей замечательной книге «Былое и думы».

Ничто не переменилось в мирном городе Вятке. Бумаги, указы и циркуляры путешествовали из канцелярии в канцелярию, от одного столоначальника к

другому, и если был от них какой-нибудь толк, то только для взяточников и вымогателей.

Целью жизни вятских правителей было «сколотить капитал». Источник дохода — темное, забитое, нищее крестьянство. Повод всегда находился.

Найдут полицейские мертвое тело и возят его две недели по всем окрестным селам. «У вас, дескать, наши. Заплатите — дальше поедем». И крестьяне платили, потому что знали: хуже будет, если в селе начнется дознание, — всё отберут.

Лекарь отправлялся прививать оспу и так умел запугать крестьян, что те рады были дать взятку, чтобы откупиться от прививки.

Судья твердо помнил пословицу: «Закон — что дышло: куда повернешь, туда и вышло». По малейшему поводу он угрожал бедняку плетью, Сибирью. И бедняк нес судье последние гроши — «за милость».

В Вятской губернии жили националы — вотяки, мордва, чуваша. Еще более запуганные и несчастные, чем русские крестьяне, они безропотно выносили все издевательства.

Одного вотяка, нечаянно прострелившего себе плечо, отдали на излечение уездному лекару. Плечо совсем зажило, когда лекарь приехал. Ссылаясь на «бумагу», он расковырял зажившую рану и, если бы вотьяк не догадался сунуть ему денег, совсем бы лишил его руки.

Так лекарь и ездил к мужику, пока не разорил его, и только тогда оставил в покое. Через год, услышав о проезде через деревню какого-то чиновника, вотьяк решил, что это опять лекарь едет, и так испугался, что тут же повесился.

Вот такие дела окружали молодого чиновника в ссылке. Как мог, он старался бороться за правду, за человечность. «Я службу свою считаю далеко не бесполезной в той сфере, в которой я действую, хотя уже по одному тому, что я служу честно», писал он брату.

Он продвигался по службе; все шире становилось поле его деятельности. Он стал уже советником при губернаторе. Но с каждым днем яснее ему становилось, что «плетью обуха не перешибешь». Он был один, а против него стояла вся губерния, вся страна.

И мало-помалу Салтыков убедился, что эта работа — толчение воды в ступе.

Семь долгих мучительных лет он провел в Вятке. А каков был итог? «Сегодня — следствие о вымогательстве, завтра — о сокрытии, послезавтра — о превышении или бездействии и т. д. Хвалиться, после долгих лет разлуки, перед приятелем, сколько стоило труда и искусства, чтобы поймать, уличить и вообще довести, с грехом пополам, какого-нибудь воришку-станового до вождеденного 3-го пункта¹, право, не стоило».

Проницательный художник, Салтыков сумел увидеть вокруг себя черты, типичные не для одной только Вятки. Он увидел в этой губернии страшные, уродливые черты всей российской действительности. Только словом, могучим и беспощадным словом мог он бороться за лучшее будущее России.

И Салтыков пошел по тому же пути, по которому до него пошел Герцен. Дождавшись наконец освобождения из ссылки, он взялся за перо, чтобы обличать власть имущих — помещиков, бюрократов, — чтобы показать всему миру, под каким ужасным гнетом стонет и задыхается народ. Он писал не чернилами — он писал кровью собственного сердца, он писал горьким ядом ненависти и отчаяния.

Свой рассказ о вымышленном городе Крутогорске он вел от имени мелкого чиновника Н. Щедрина, и это имя осталось псевдонимом великого писателя на всю жизнь.

ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ

Один начинающий писатель принес Некрасову начало своей рукописи. После внимательной, подробной беседы Некрасов стал с ним прощаться. Он взял его руку одной рукой, прикрыл другой и ласково сказал:

— До свиданья... Пишите, пишите. У вас хорошо выходит. Вы знаете тот быт, из которого пишете. Но одно могу посоветовать... У вас добродушно все выходит. А вы, батенька, злобы, злобы побольше... Теперь время такое. Злобы побольше.

¹ То есть до увольнения.



М. Е. Салтыков.

И вдогонку, когда тот был уже в дверях, снова крикнул ему:

— Помните, батенька: злобы побольше!

Вот этого совета не приходилось давать Салтыкову. Злобой, ненавистью к ужасной русской действительности он полон был до краев. Эта неистощимая ненависть сделала его великим писателем и привела в редакцию «Современника».

Так когда-то назывался журнал Пушкина. Теперь так назывался журнал Некрасова. Страстную борьбу за лучшее будущее вели на страницах «Современника» самые смелые, самые прозорливые писатели того времени — революционеры Белинский, Чернышевский, Добролюбов. Новой книжки «Современника» лучшие люди России ждали в те годы с таким же волнением, как через полстолетия ждали нового номера ленинской «Правды». Редакция «Современника» смело смотрела в глаза врагу. Недаром при встрече с Белинским новый комендант Петропавловской крепости Скобелев сказал ему с усмешкой: «Когда же к нам? У меня совсем готов тепленький каземат — так для вас его и берегу».

Белинский умер, не успев попасть в этот каземат. В него попал Чернышевский.

Вот к этим людям примкнул Салтыков.

Он горячо любил свой народ, забытый и нищий. Эта любовь рождала в нем ненависть к крепостнической, жандармской, чиновничьей России. И тем яростней была эта ненависть, что он, как никто, знал тюремщиков русского народа.

Он родился в семье стяжателей-крепостников. «Я вырос на лоне крепостного права, вскормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан крепостными мамками и, наконец, обучен грамоте крепостным грамотеем. Все ужасы этой вековой кабалы я видел в их наготе».

С детства, с лицейской скамьи, он знал чиновничий мир. Дворянские отпрыски росли у него на глазах, на глазах у него его однокашники превращались в безжалостных хищников, вползали на брюхе по ступеням служебной лестницы. Годами сидел он с ними за одним столом, в одной канцелярии, и куда ни обращал он взгляд, всюду были перед ним бюрократы и взяточники, самодуры и головоотяпы. Он видел этих хищ-

ников насквозь, в какие бы личины они ни рядились.

Это знание господствующего класса придавало могучую силу его перу. «Дух правды оживляет очерки Щедрина, — писал о его «Губернских очерках» Чернышевский. — Ни у кого из предшествовавших Щедрину писателей картины нашего быта не рисовались красками более мрачными. Никто не карал наших общественных пороков словом более горьким, не выставлял перед нами наших общественных язв с бóльшей беспощадностью».

Не отдельные уродливые фигуры стояли перед Щедриным: он видел уродство всей русской жизни, всей системы царского самодержавия. Первым из русских писателей он увидел, как из крепостной России рождается новая, буржуазная Россия.

Вот среди «власть имущих» начались споры об отмене крепостного права. «Либералы» запели сладкие песни об «освобождении» крестьян. Но Щедрина нелегко было обмануть. Он разгадал, в чем смысл этих песен. Это хищники прятали свое мерзостное лицо, прикрываясь словами о любви к ближнему, о сострадании. «Освобождением» они называли бессовестнейший грабёж, сплошное надругательство. И Щедрин направил свое оружие против ряженого врага. С этой поры и до самой смерти не перестанет он клеймить «либералов». Однажды назвал он их «пестрыми людьми». «Общий признак, — говорил он, — по которому можно отличать пестрых людей, состоит в том, что они совесть свою до дыр износили. А взамен совести выросло у них во рту по два языка, и оба лгут, иногда по очереди, а иногда — это еще постыднее — оба зараз...»

Еще один враг появился у «освобожденного» бедняка: деревенский кулак. И его распознал Щедрин, едва успел кулак родиться на свет. «Около каждого «обеспеченного наделом» выскочил Колупаев, который высоко держит знамя кровопийства», — так сказал Щедрин о кулаке. Он называл кулака разными именами: Колупаевым, Разуваевым, Деруновым, Чумазым.

«Чумазый торгся в самое сердце деревни и преследует мужика и на деревенской улице и за околицей... Он обмеривает, обвешивает, обсчитывает, доводит питание мужика до минимума... Поле деревенского

кулака не нуждается в наемных рабочих: мужики обрабатывают его не за деньги, а за проценты или в благодарность за «одолжение». Вот он, дом кулака! Вот он высится под тесовой крышей над почерневшими хижинами односельцев; издали видно, куда скрылся паук».

Никогда еще в русской литературе не было писателя, который так верно и точно описывал бы отношения между помещиком и крестьянами, между кулаком и бедняком.

Поэтому, изучая жизнь русского общества, не мог пройти мимо Щедрина вождь трудящихся всего мира — мудрый Карл Маркс. Недавно в одном архиве в Берлине хранились русские книги из личной библиотеки великого Маркса. Наверное, теперь их сожгли фашисты, эти драгоценные книги с подчеркнутыми строками, с пометками на полях. Маркс и Энгельс находили время учиться русскому языку. Люди, видевшие остатки этой библиотеки, рассказывают, что тут были и книги Щедрина.

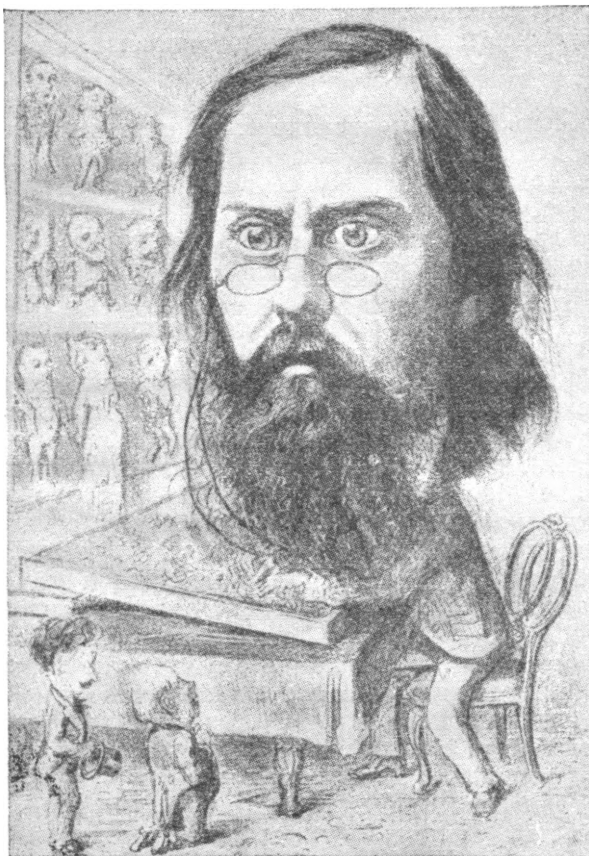
Нелегко было Марксу читать эти книги: у Щедрина своеобразный язык, его рассказы и повести пересыпаны народными словечками, пословицами и поговорками; но Маркс расшифровывал фразу за фразой. Иные слова он тут же на полях переводил по-немецки, по-французски.

Правдивые картины, нарисованные русским писателем, открывали перед Марксом, что происходит в России. И вождь трудящихся всего мира тщательно подчеркивал каждую строчку, в которой говорилось о классовой борьбе, каждую фразу, в которой писатель высказывал надежду на приближение революции.

Он верил правдивому перу Щедрина.

«ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА»

Посмотрите на эту карикатуру. Она напечатана была в те годы, когда выходили из печати бичующие, полные ненависти книги Щедрина. «Салтыков-коллекционер» — такая подпись была под рисунком. На рисунке — гневное лицо писателя. На столе перед ним и на стене, в ящиках, на булавах — его «коллекция»: крепостники, взяточники, подхалимы, самодуры.



Салтыков-коллекционер.

Карикатура 70-х годов.

Страшную галерею этих извергов и уродов нарисовал в своих книгах Щедрин.

Враги ненавидели его и боялись. Они согласны были с Чернышевским в том, что никто не выставлял перед читателем общественных язв с большей беспощадностью, чем Щедрин.

Его боялись настолько, что даже личные его письма вскрывали. Однажды написал он своему лицейскому другу:

«Твоим мифом о призвании варягов я намерен воспользоваться и написать очерк под заглавием «Историческая догадка». Изложу ее в виде беседы учителя гимназии с учениками».

Какой-то шпион-почтмейстер немедленно послал в главное управление цензуры донос: «Г. Салтыков намерен написать статью под заглавием «Историческая догадка», изложив ее в виде беседы учителя с учениками». В управлении тотчас же завели специальное дело об «Исторической догадке». Клочок бумаги с доносом бережно подшили. Доложили «дело» министру народного просвещения Норову. Министр поспешил принять меры. Он отправил секретный циркуляр господину попечителю Московского учебного округа:

«Покорнейше прошу Ваше Превосход. в случае поступления на рассмотрение Московского Цензурного Комитета сочинения или журнальной статьи г. Салтыкова под заглавием «Историческая догадка», изложенной в виде беседы учителя с учениками, обратить на онную особенное Ваше внимание и, если признаете нужным, представить мне это сочинение».

Тут Норову пришло на ум: «А что, если сочинение будет печататься в Петербурге?»

И он отправил копию циркуляра в Санкт-Петербургский учебный округ.

На счастье, Салтыков написал этот рассказ иначе — в виде беседы старого приказного с молодым становым приставом, а вдобавок дал рассказу другое заглавие: «Гегемониев». И цензура пропустила этот очерк, так и не обратив на него «особенного внимания».

Цензура следила не только за личной перепиской писателя. Она старалась заткнуть рот Щедрину, и ни одно произведение его не выходило в свет без рубцов



Статья до просмотра цензуры и статья процenzурованная.

Карикатура 60-х годов.

и шрамов. «Запретить!», «Дозволить с исключением мест, указанных господином цензором!», «Статьи должны быть уничтожены!», «Подвергнуть книгу аресту!» — эти окрики раздавались всякий раз, как новая вещь Щедрина поступала в цензуру. Сколько сил и здоровья стоило это писателю! Горько сказал он об этом однажды:

«Ах, это писательское ремесло! Это не только му́ка, но целый душевный ад. Капля по капле сочится писательская кровь, прежде нежели попадет под печатный станок. Чего со мною не делали! И вырезывали, и урезывали, и перетолковывали, и целиком запрещали, и всенародно объявляли, что я — вредный, вредный, вредный...»

Цензура кромсала, уродовала каждую написанную им страницу.

Вот как в те годы изобразил «работу» цензуры художник.

Статья до цензуры на рисунке представлена в виде красивой, нарядной женщины. А вот та же статья после цензуры. Ее не узнать: это нищенка в рубище, в лохмотьях.

Писатель не мог говорить открыто. Чтобы сказать слово правды, нужно было обмануть цензуру.

Жил некогда в Греции сочинитель басен Эзоп. Он рассказывал афинянам сказки, в которых под видом животных высмеивал и обличал правителей. И Щедри-ну пришлось научиться писать «эзоповским» языком. «Я — Эзоп и воспитанник цензурного ведомства», писал он.

Одно из лучших произведений Щедрина — «История одного города по подлинным документам». Рассказывая о некоем городе Глупове, писатель в беспощадной сатире изобразил всю «великую Российскую империю». В предыдущих своих книгах Щедрин высмеивал захолустных помещиков и чиновников, уродливый быт провинции. В «Истории одного города» он нарисовал убийственную карикатуру на самодержцев — Павла, Александра, Николая, Екатерину, на верного царского пса Аракчеева. И так мастерски владел Щедрин эзоповским языком, что царская цензура, не поморщившись, проглотила эту пилюлю. Цензор не догадался, что книга эта — гениальная издевка над всем государством Российским, над деспотизмом и глупостью его правителей. Он решил, что это нечто вроде «Губернских очерков», и дал свое глубокомысленное заключение: «В означенном сатирическом очерке предается осмеянию провинциальная администрация». Стало быть, писатель взялся за старое дело — опять высмеивает захолустье. Ну, захолустье — пусть, лишь бы не трогал основ государственности, — так решила цензура. Никогда еще так жестоко не попадала она впросак.

Медленно и спокойно начинал писатель повествование о городе Глупове. Он рассказывал о том, как, роаясь в глуповском городском архиве, случайно набрел на связку тетрадей, носящих название «Глуповский летописец». В этих тетрадях записаны были биографии градоначальников, в течение столетия владевших судьбами города Глупова. Даже точные даты привел Щедрин: 1731—1826 годы. Далее, автор сам подвергал сомнению иные факты, изложенные в книге: «Что касается до внутреннего содержания «Летописца», то оно по преимуществу фантастическое и по местам даже почти невероятное в наше просвещенное

время. Таков, например, совершенно ни с чем несообразный рассказ о градоначальнике с музыкой. В одном месте «Летописец» рассказывает, как градоначальник летал по воздуху, в другом — как другой градоначальник, у которого ноги были обращены ступнями назад, едва не сбежал из пределов градоначальства».

И правда, фантастики в книге было очень много. Цензор с удивлением читал о головотяхпах, которые «тяпали» головами обо все, что бы ни встретилось на пути; о моржеедах, лукоедах, губошлепах, вислоухих, кособрюхих и рукосуях; о том, как они Волгу толочком замесили, потом теленка на баню тащили, потом в кошеле кашу варили... Напрасно цензор искал во всем этом какого-то иносказания. Он не мог найти в подобной фантастике ничего предосудительного, подлежащего запрещению.

Этого и нужно было мастеру эзоповского языка Щедрина. Он придавал фантастическую окраску реальным, подлинным историческим фактам, скрыл эти факты под пеленой свободного вымысла. Так сатира увидела свет и дошла до читателя.

А читатель в ту пору приучен был читать между строк. Он читал удивительную историю о губернаторе Брудастом, который «едва вломился в пределы городского выгона, как тут же, на самой границе, пересек уйму ямщиков». Этот губернатор отличался от других тем, что был чрезвычайно молчалив. Только два окрика: «Раззорю!» и «Не потерплю!» слышали от него глуповцы. «И вдруг всем сделалось известным, что градоначальника секретно посещает часовых и органных дел мастер Байбаков». Однажды, глубокой ночью, Байбаков вышел из квартиры градоначальника. Он бережно нес что-то, обернутое в салфетку. И в ту ночь никто из обывателей не был разбужен криком: «Не потерплю!» Потом случилось и вовсе невероятное происшествие. Вошедший утром с докладом в кабинет письмоводитель увидел такую картину: градоначальниково тело, облаченное в вицмундир, сидело за письменным столом, а перед ним на кипе недоимочных реестров лежала совершенно пустая градоначальникова голова. Рядом с ней на столе лежали долото, буравчик и английская пилка. Призванный к ответу органных дел мастер показал, что вместо головы у градоначальника

был ящик с органчиком; органчик этот мог исполнять только две нетрудные музыкальные пьесы: «Раззорю!» и «Не потерплю!» И механизм этот отсырел и испортился. Глуповцы не были удивлены. «Помощник градоначальника сообразил, что ежели однажды допущено, чтобы в Глупове был городничий, имеющий вместо головы простую укладку, то, стало быть, это так и следует».

Цензор только посмеялся над затейливой выдумкой писателя.

А читатели — те отлично поняли, что «Органчик» — символический образ российских правителей, безмозглых тупиц, облеченных самодержавною властью.

Щедрин продолжал свое повествование. В «Сказании о шести градоначальницах» он намекал на пять императриц, царствовавших в XVIII веке. В главах о Двоекурове, который «сделал обязательным употребление горчицы», и о Бородавкине, который к горчице добавил прованское масло, сатирик дал правдивый рассказ о насильственном введении картофеля в России. Читателям памятливы были еще «картофельные бунты» и дикие «секуции», которым подвергали крестьян николаевские карательные отряды. И нисколько не затрудняло читателей, что картофель в «Истории одного города» именуется горчицей.

«В городском архиве до сих пор сохранился портрет Угрюм-Бурчеева, — читали они далее. — Это был мужчина среднего роста, с каким-то деревянным лицом, очевидно никогда не освещавшимся улыбкой. Густые, стриженные под гребенку и как смоль черные волосы покрывают конический череп и плотно, как ермолка, обрамливают узкий и покатый лоб...»

«Да ведь это портрет Аракчеева!» говорят себе читатели.

И каждый новый штрих подтверждает, что их догадка правильна.

«Челюсти развитые, но без выдающегося выражения плотоядности, а с каким-то необъяснимым букетом готовности раздробить или перекусить пополам... Одет он в военного покроя сюртук, застегнутый на все пуговицы, и держит в правой руке сочиненный Бородавкиным «Устав о неуклонном сечении»... Кругом — пейзаж, изображающий пустыню, посреди которой



Градоначальниково тело, облаченное в вицмундир, сидело
за письменным столом...

Рисунок Кукрыниксы.

стоит острог; сверху вместо неба нависла серая солдатская шинель...»

Конечно, это был портрет Аракчеева, страшного царского сатрапа, который на протяжении многих лет душил все живое в несчастной стране. И так же, как читатели узнавали его в лице Угрюм-Бурчеева, так же угадывали они аракчеевские «военные поселения» в описании страшного города Непреклонска.

Никогда еще не было в русской литературе сатиры такой сокрушительной силы. Казалось, эзоповский язык не мешает писателю, а помогает: Щедрин подымался над частными фактами, над отдельными фигурами, он обобщал в своих образах весь ужас российской действительности.

Угрюм-Бурчеев был не только Угрюм-Бурчеевым,— он воплощал в себе и черты Николая I, он становился символом всего бездушного, чиновничьего, казарменного режима.

История под пером Щедрина переставала быть только историей — она отражала все стороны жизни, свидетелем которой был писатель. Не только правителей города Глупова бичевал сатирик — он издевался горько и гневно над долготерпением приниженного, угнетенного народа. Его сатира не только звала, она гнала в бой — в бой против насилия, бесправия и темноты.

ИУДУШКА

«Добрый друг маменька», Арина Петровна Головлева, — это все та же хищная помещица Анна Павловна Затрапезная, знакомая нам по «Пошехонской старине». Всю жизнь ее помыслы устремлялись к одной точке — к накоплению. За четыре десятка лет ее стяжательская деятельность увенчалась полным успехом. Ценой жестокого притеснения крепостных, неустанной расчетливости и мелочного скопидомства имение округлилось, увеличившись чуть ли не вдесятеро. Цель жизни была достигнута.

«Пошехонская старина» повествовала о стяжательстве дворянской семьи, о росте помещичьего благосостояния. Это были 30-е годы прошлого столетия. «Господа Головлевы» — страшное свидетельство полного

распада, гниения, вымирания семьи и разрушения всего крепостнического строя.

Дети выросли. Они все так же делятся на «постылых» и «любимчиков».

Вот старший сын Степан возвращается в родительское имение.

«Это — чрезмерно длинный, нечесаный, почти невымытый малый, худой от недостатка питания, со впалой грудью, с длинными заgreбистыми руками. Лицо у него распухшее, волосы на голове и бороде растрепанные, с сильной проседью, голос громкий, но сиплый, простуженный, глаза навывкате и воспаленные, частью от непомерного употребления водки, частью от постоянного нахождения на ветру...»

Жизнь его не удалась. И вот теперь, многое испробовав и всюду потерпев поражение, он вынужден возвратиться в ненавистную Головлеву. Мысль его прикована к предстоящей встрече с матерью. Он хорошо знает злую старуху. Она представляется ему пауком, жадно и нетерпеливо дожидаящимся жертвы. Вспоминаются другие ее жертвы, жалкие, беспомощные, замученные: дядюшка Михаил Петрович, запертый в людской и до самой смерти евший из одной миски с собакой Трезоркой; тетушка Вера Михайловна, умершая «от умеренности», потому что Арина Петровна всю жизнь попрекала ее каждым куском хлеба, каждым поленом дров...

Степан Головлев знает, что ему предстоит то же самое. Он боится матери, боится остаться с ней один-на-один. Она презирает его, постылого неудачника, и заест его молчанием, забвением, ненавистью. И не идти к ней невозможно, потому что нет у него другой дороги.

Когда наконец он приехал, худшие опасения его оправдались. Мать отвела ему комнатку в отдельном флигельке, выдала ему грязный халат, старые, стоптанные туфли и... забыла о нем. «Двери склепа растворились, пропустили его и захлопнулись...»

Там и умер постылый сын Степан.

Арина Петровна продолжала властвовать. Отмена крепостного права нанесла первый удар по ее крепости. Она никак не могла представить себе жизнь с новыми порядками. Что же делать без крепостных? Всю

свою жизнь, все благосостояние она построила на их даровом труде. А что теперь? Как быть с «холопками»? Отпустить их? Кто же станет все делать? Оставить? Чем же их кормить тогда? Неужели все за деньги покупать?

Отмена крепостного права представлялась ей катастрофой. Чувствуя, что привычная почва ускользает из-под ног, Арина Петровна растерялась окончательно, выпустила из рук бразды правления и как-то затихла.

Именно в это время приехал домой другой ее сын — Порфирий, «любимчик».

С детства был он тихоней, подлизой и кляузником. Старший брат, Стёпка-балбес, за эти качества прозвал его Порфишкой-кровопивцем и Иудушкой. Прозвища укрепились за ним прочно, на всю жизнь. От маменьки он унаследовал страсть к стяжательству. Покамест был он тих, кроток и пустословен. Никогда нельзя было точно понять его мысли, так много лишних слов он произносил. Он изображал почтительного сына, при всяком случае поминал боженьку, постоянно целовал у маменьки ручку и называл ее не иначе, как «добрый друг маменька».

Он приехал из Петербурга, едва только почувствовал по письмам Арины Петровны ее сомнения. Приехал и совсем запугал ее.

В конце концов Арина Петровна решила разделить все имение между двумя сыновьями: Порфирием и Павлом.

«Почтительный сын» дожидался раздела имения терпеливо и кротко. После раздела Арина Петровна осталась в Головлеве, доставшемся Порфирию. Он не вмешивался в ее распоряжения и на все вопросы неизменно отвечал: «Я, добрый друг маменька, и тем доволен, что вы, по милости вашей, мне пожаловали». А потом, улучив удобную минуту, выгнал мать из дому, оставаясь все таким же почтительным и ласковым.

Помаленьку да полегоньку стал Порфишка-кровопивец прибирать к рукам все имущество. Брата Павла, спившегося и безвольного, он посетил в последний день его жизни.

Павел умирал. Обессиленный и измученный, он лежал не двигаясь и всматривался в темноту. Его окружали тени; казалось, они шевелятся. Больной впал в



Иудушка Головлев.

Рисунок Кукрыниксы.

забыть. Внезапно вздрогнув, он открыл глаза. Ненавистный Иудушка стоял возле постели. Павел испугался, закричал, стал звать на помощь. Никто не откликнулся. Иудушка присел на стул и начал свою бесконечную словесную канитель.

«— Ах, брат, брат! Какая ты бяка сделался!.. А ты возьми, да и прибодрись! Встань, да и побеги! Труском-трусом — пусть-ка, мол, маменька полюбуется, какими мы молодцами стали. Фу-ты! Ну-ты!

— Иди, кровопивец, вон! — отчаянно крикнул больной...

— Ах, как болезнь-то, однако, тебя испортила! Даже характер в тебе — и тот какой-то строптивый стал. Уйди да уйди. Ну как я уйду? Вот тебе испытать захочется — я водички подам; вон лампадка не в исправности — я и лампадочку поправлю, маслица деревянинького подолью. Ты полежишь, я посижу; тихо да смирно, и не увидим, как время пройдет.

— Уйди, кровопивец!»

Иудушка не уходил. Он продолжал издеваться над умирающим. Он говорил, говорил, говорил без конца. Павлу казалось, что густая, липкая слюна обволакивает его, душит, мертвит...

Павел умер в тот же день, не успев распорядиться насчет наследства. Теперь Иудушка стал полновластным хозяином огромного головлевского имения.

Он жаден, но его страсть к наживе приобретает какую-то удивительную форму. Он непрерывно работает, но деятельность его бессмысленна. Он не отдает приказаний по имению, не следит за хозяйством, и хозяйство постепенно разваливается, разрушается, гибнет.

Все время Иудушки уходит на непрерывные подсчеты. Все взято на учет. Наряду с главными отраслями хозяйства учитывается всякая мелочь: малина, крыжовник и даже... грибы. При этом отчетность по каждой статье доведена до мельчайших подробностей. Мало знать, сколько всего кустов малины в имении и сколько с этих кустов собрано ягод, — Иудушка отдельно записывает количество ягод, съеденных, проданных, употребленных на варенье, сгнивших и т. д.

Все деньги и все продукты заносятся в десятки книг, долго и кропотливо подсчитываются итоги. Если при сверке итогов теряется копейка или, наоборот,

оказывается лишняя, все снова подсчитывается, выверяется, записывается...

Другим любимым занятием Иудушки был подсчет доходов, которые он мог бы получить в случае различных воображаемых бедствий. В течение целого дня вычислял он, «на какую сумму он может продать в год молока, ежели все коровы в округе примрут, а у него одного, с божьей помощью, не только останутся невредимы, но даже будут давать молока против прежнего вдвое».

Или: «Сколько на десятине овса растет и сколько этот овес может денег принести, ежели его куры мужицкие помнут и за все помятое штраф уплатят?»

Или: «Сколько в Лисьих Ямах березок растет и сколько за них можно денег взять, ежели их мужики воровским манером порубят и за все порубленное штраф заплатят?»

И вот уж в воображении его разыгрывается целая сцена. Кажется ему, будто неслышно и невидимо пробирается он через березовый лесок и вдруг замечает мужика-порубщика. Выбрал мужичок себе березку подходящую, вынимает топор, нацеливается, взмахивает топором, и валится березка наземь, а Иудушка будто тут как тут и мигом схватывает мужика за руку.

«— Ах! — успевает только крикнуть застигнутый врасплох вор.

— «Ах!» — передразнивает его Порфирий Владимирович. — А чужой лес воровать дозволяется? «Ах!» А чью березку-то, свою, что ли, срубил?

— Простите, батюшка!

— Я, братец, давно всем простил. Сам богу грешен и других осуждать не смею. Не я, а закон осуждает. Ось-то, которую ты срубил, на усадьбу привези, да и рублик штрафу к стати уж захвати; а покуда пускай топорик у меня по лежит. Небось, брат, сохранно будет!»

Но не только в мыслях расправляется Иудушка со своими мужичками, «соседушками», как он их лицемерно называет. Он знает и видит страшную крестьянскую нужду и именно на голоде и нищете народной строит все свои планы обогащения, опутывая ростовщической паутиной несчастных «освобожденных» мужиков.

Вот он дождался своей жертвы. Крестьянин Фока еле-еле дотянул до весны со своим хлебом. Теперь апрель, все его запасы кончились, и он вынужден обратиться к «кровопивцу» с просьбой одолжить ему немного ржи до нового урожая.

«— Ну, друг, что скажешь хорошенького? — начинает Порфирий Владимирыч.

— Да вот, сударь, ржицы бы...

— Что так? Свою-то, видно, уж съели? Ах, ах, грех какой!»

И Иудушка пускается в нескончаемые разглагольствования о том, почему и как дошел мужик до голода; о гордости, за которую он наказан разгневанным боженькой; о собственном великодушии; вспоминает все обиды, когда-то нанесенные ему, Иудушке, крестьянами. И когда наконец соглашается одолжить «ржицу» измученному Фоке, то заламывает такие проценты «за одолжение», что у бедняка даже дух захватывает.

«— Не многовато ли будет, сударь? — наконец произносит он, очевидно робея.

— А много, так к другим обратись! Я, друг, не неволю, а от души предлагаю. Не я за тобой посылаю, сам ты меня нашел, ты — с запросцем, я — с ответцем. Так-то, друг!»

Крестьяне люто ненавидели его. Если случалось проезжать мимо Головлевки, они предпочитали сделать крюк, лишь бы объехать «кровопивца» стороной, не встретиться с ним. Обращались к нему только в случае крайней необходимости. Особенно боялись крестьяне Иудушкина смердящего пустословия. «...Тиранит он, слов не жалеет. Словами-то он сгноить человека может», говорили они.

Была ли какая-нибудь цель у пакостника, лицемера и пустослова Иудушки? Да, у него семья, сыновья. Так же, как Арина Петровна когда-то все свои помыслы устремляла якобы на благо семьи, так же и ее «почтительный сын» воображал, что кому-то его деятельность необходима.

Но вот и его сыновья выросли, и начинаются робкие, униженные просьбы о сочувствии, о денежной помощи. Тут-то и раскрывается в полной мере Иудушкино предательство.

Он десятки лет уверял мать в своей любви и преданности, но, улучив время, обобрал и выгнал ее из дому. Он непрестанно твердил о братских чувствах, но, едва дождавшись смерти Павла, присвоил его имущество. Он истекал потоком лживых слов по адресу своих «соседушек», а сам, злорадно усмехаясь, душил жертву, как только она попадалась в его лапы. В лицемерии и предательстве — цель и смысл всего Иудушкина существования.

Что сказать о его отношении к сыновьям? Иудушка знал только, что они по документам числятся его детьми, что в определенные сроки он должен посылать им деньги, что за это сыновья должны безусловно подчиняться всем его требованиям. Дети, в свою очередь, знали, что у них есть отец, от которого в любую минуту можно ожидать неприятности.

Сын Владимир, живший в Петербурге, решил жениться. Он написал отцу: так, мол, и так, любезный папенька, хочу жениться. Что ж, отвечал папенька, хочешь жениться, так и женись. А потом перестал посылать деньги, потому, видите ли, что сын не спросил разрешения, а только объявил о своем желании.

Два года между отцом и сыном шла глухая и жестокая борьба. Сначала Владимир решил обойтись без отцовских денег, потом, когда пришлось трудно, стал просить, умолять, грозить... А в ответ получал готовые формулы, за которыми, как за каменной стеной, всегда прятался Иудушка: «Бог непокорных детей наказывает», «Гордым бог противится», «Любишь кататься, люби и саночки возить» — словом, целый ворох лживых, лицемерных фраз.

В конце концов Владимир застрелился. С полным правом мог крикнуть отцу другой сын, Петр, страшное слово: «Убийца!»

Петр приехал к отцу за деньгами. Он проиграл в карты казенные деньги и должен был либо вернуть их, либо идти под суд. Тщетно умолял он отца о спасении.

«— Я последний сын у вас, — сказал он наконец, — не забудьте об этом.

— У Иова, мой друг, бог и все взял, да он не роптал, а только сказал: бог дал, бог и взял — твори, господи, волю свсю. Так-то, брат!»

Петр уехал, так и не добившись ничего. Иудушка отпустил его, на прощание лицемерно позаботившись о его дорожных удобствах и приказав ему выдать курачки, телятинки, пирожков...

Петра судили; по дороге в ссылку он заболел и умер.

Иудушка остался один. Мертво и пусто было в его душе. Мертво и пусто было вокруг.

Очень много биографического в «Господах Головлевых». Портрет «маменьки» написан с натуры; в этом образе есть черты родной матери писателя. Образцом для Иудушки послужил Щедрина родной брат Дмитрий.

Но в том и была великая сила художника, что в личном, в биографическом умел он увидеть процессы, происходящие в жизни страны.

Всей силой гениального мастерства изобразил Щедрина судьбу Иудушки Головлева, представителя гниющего и разрушающегося, обреченного на гибель помещичьего класса.

ЛИШЕННЫЙ ЯЗЫКА

Есть у Щедрина фантастический рассказ, который называется «Торжествующая свинья или разговор свиньи с Правдой». Место действия — хлев. Действующие лица — разжиревшая свинья и юная Правда. Между ними происходит такой разговор:

«Свинья. Правда ли, будто в газетах печатают, свобода-де есть драгоценнейшее достояние человеческих обществ?»

П р а в д а. Правда, свинья.

С в и н ь я. А по-моему, так и без того у нас свободы по горло. Вот я безотлучно в хлеву живу — и горюшка мало! Что мне! Хочу — рылом в корыто уткнусь, хочу — в навозе кувыркаюсь. Какой еще свободы нужно? Изменники вы, как я на вас погляжу... ась?»

Свинья, сопя, подходит к Правде, хватает ее за икру и начинает чавкать. Потом опять спрашивает:

«Свинья. ...Теперь сказывай, где корень зла?»

П р а в д а. Корень зла?.. В тебе, свинья!»

Свинья свирепеет, наступает на Правду все решительнее и плотнее и с возгласом: «А ну-тко, свинья, положи-ка Правду!» опять принимается чавкать.

В этой страшной сцене неравного поединка свиньи с Правдой Щедрин отразил одну из самых мрачных эпох в истории России, наступившую после убийства царя Александра II.

Народники, казнившие царя по постановлению Исполнительного комитета партии «Народная воля», ничего не достигли этим. На место Александра II пришел Александр III. Он решил беспощадно разгромить революционное движение. Стачки рабочих подавлялись военной силой. Революционные кружки были разогнаны, членов кружков приговаривали к смертной казни, ссылали на каторжные работы. Как никогда, зверствовала цензура, журналы закрывались, всякое живое слово подвергалось гонению.

Торжествующая свинья царизма грозила сожрать свободную мысль, свободное слово.

Изображение поединка автор закончил так:

«Я лежал, как скованный, в ожидании, что вот-вот сейчас и меня начнут чавкать. Я, который всю жизнь в легкомысленной самоуверенности повторял: бог не попустит, свинья не съест, — я вдруг во все горло зарал: съест свинья! Съест!»

Увы! Это предчувствие оказалось пророческим. Журнал «Отечественные записки», сотрудником и редактором которого Михаил Евграфович Салтыков был в течение шестнадцати лет, по постановлению правительства был закрыт.

Один из сотрудников «Отечественных записок», замечательный русский писатель Гаршин, написал тогда:

«В понедельник я ходил в редакцию «Отечественных записок» последний раз. Точно хоронили мертвеца. Не расходились долго, хотя и разговоров никаких не было, а просто не хотелось как-то уходить. Странное совпадение: как раз в то время на Преображенской площади училась артиллерия, два орудия, и во время учения все целили прямо в окно. Точно нарочно! Салтыков на вид ничего, даже не особенно раздражен, только потемнел как-то. Все прочие крепятся, но видно, что у всех кошки на сердце».

Только с виду, на людях, крепился Щедрин. Что было делать ему без «Отечественных записок», без любимой работы, в которой он видел смысл своей жизни? Прекратить борьбу, положить перо? Какой толк писать, если негде печатать написанное!

С тоской перелистывал он книжку своего журнала. Как в родной дом, шли сюда наиболее талантливые из русских писателей. Они доверяли Щедрину и любили его, несмотря на его резкий, нелюдимый характер. Никто не роптал, если редактор изменял, исправлял их вещи.

А читатель? Это было единственное существо, которое он любил искренне и горячо. Теперь связь с читателем порвана, полное одиночество. Он лежал, больной и одинокий, и с нестерпимой болью думал о судьбах русской литературы. Конечно, для литературы закрытие «Отечественных записок» — громадная потеря. Где найдет теперь читатель слово правды? Где печататься честному писателю? В «Русской мысли»? Но ведь это чистейшая окрошка, телятный вагон, куда заперли всевозможных сборных телят и везут неведомо куда и неведомо зачем! В «Вестнике Европы» — в этом крашеном гробу, тараканьем кладбище? В «Новом времени»? Да ведь эти либеральные журналы — разве можно их читать?! Точно нюхаешь портки чичиковского Петрушки.

Желчь закипала у Щедрина при этих мыслях.

В один либеральный журнал пришла его звать Евреинова — редактор.

— А скажите, — спросил ее Щедрин, — правда это, что вам разрешили издавать журнал при одном условии — отказаться от бывших моих сотрудников?

Она призналась, что это правда. Щедрин усмехнулся.

— Разве вы не понимаете, что для писателя молчание — смерть! — вдруг закричал старик. — А если бы вам предложили кого-нибудь из них убить — вы бы тоже согласились на это?

Смутившись, Евреинова стала уверять, что это совсем не то; на убийство она бы не пошла.

— Ну и слава богу! — проскрежетал Щедрин.

Вот об этой смерти от молчания он должен был писать. Это было единственное, о чем он мог сейчас

думать и говорить. С трудом преодолевая болезнь, покрываясь потом от слабости, он писал о человеке, который «совершенно неожиданно лишился языка». Снова и снова возвращался он к этой теме. И, может быть, самое страшное, что написал он в своей жизни, это «Приключение с Крамольниковым».

Крамольников — писатель, всю свою жизнь отдавший литературе, имевший одну только страстную привязанность — общение с читателем. Он ощущал в себе «лучистую силу, которая давала ему возможность огнем своего сердца зажигать сердца других». И вот этот писатель, проснувшись однажды утром, совершенно явственно ощутил, что его нет, что душа его запечатана. Его оторвали от читателя.

«Никакого, даже в воображении, не представлял он себе несчастья столь глубокого». Перед ним «разверзлась темная пропасть и поглотила то «единственное», которое давало жизни смысл...» Со всех сторон обступила Крамольникова зияющая пустота. Он поспешил к друзьям. Они чурались его, как чумы, «эти вчерашние свободные мыслители», они берегли свой покой, свое благополучие.

Одно утешение осталось у Крамольникова: он знал, что есть у него читатель, который остался ему верен, — «люди, которые шли вглубь и погибали», «читатель, который был далеко и разорвать связывающие его узы не мог».

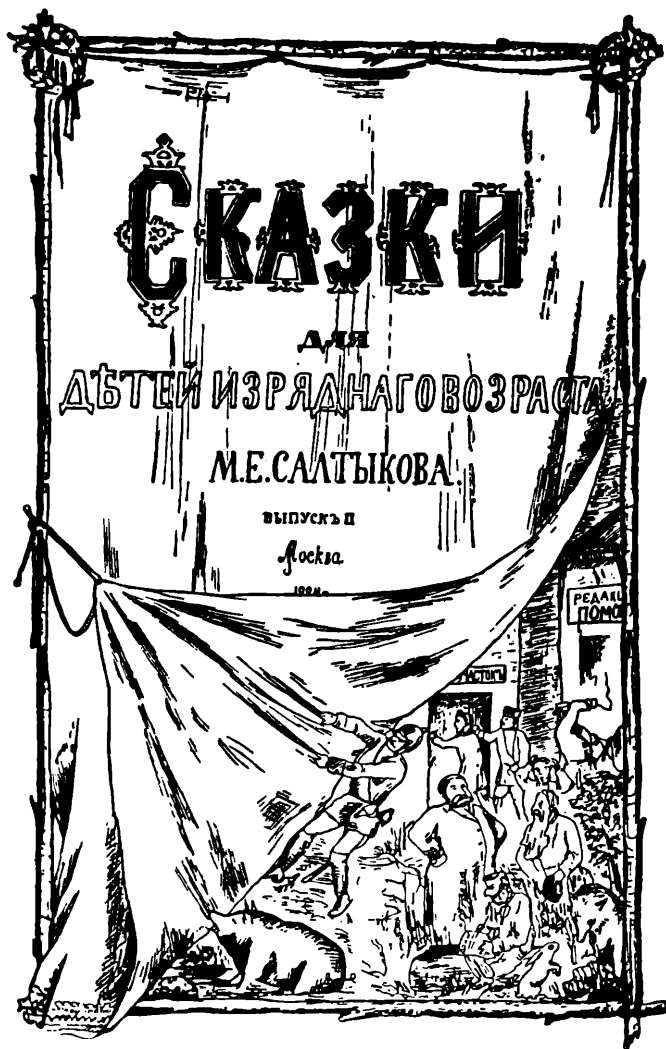
Под далеким и скованным читателем Щедрин разумел революционеров. И он не ошибся: э тот читатель остался верен ему.

СКАЗКИ

В революционные кружки и в тюрьму Щедрин приходил не только со страниц разрешенных журналов и книг. Многие его сказки цензура не пропускала, и тогда эти сказки издавались нелегально подпольными кружками. Сказки Щедрина выходили разномуженными на гектографах, как выходили тогда боевые листовки и прокламации.

На закрытие «Отечественных записок» русские революционеры-народники ответили подпольным изданием щедринских сказок.

Вот обложка «Сказок», изданных в подполье.



Обложка подпольного издания «Сказок» Щедрина.

Занавес, приподнятый смелой рукой Щедрина над кромешным ужасом царской России, усиленно старается опустить полицейский; ему сосредоточенно помогает торжествующая свинья. Усилия их напрасны, и читатель видит все, что беспощадно высмеял великий сатирик.

В глубине — два учреждения: участок, куда за шиворот волокут обывателя, рядом — «редакция помоев» (так Щедрин называл продавшиеся правительству газеты). Перед дверями «редакции» полицейский, на этот раз конный, хлещет кого-то плеткой. Впереди стоят пузатые и бородатые хищники — богатеи Колупаев и Разуваев; за ними крестьянин, обобранный ими, в отчаянии схватился за голову обеими руками. В правом углу — Волк и Заяц, герои щедринских сказок. Рядом сидит мерзавец-доносчик и строчит на кого-то донос.

В книжечке помещено несколько запрещенных сказок; тут же напечатан протест против закрытия «Отечественных записок».

«Сказки» были написаны тем же эзоповским языком, который так часто помогал Щедрину донести свои мысли до читателей через все преграды и рогатки цензуры. В рабочих кружках токари и литейщики слушали сказку про «Конягу».

«...Нет конца работе. Работой исчерпывается весь смысл его существования; для нее он зачат и рожден, и вне ее он не только никому не нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем той мускульной силе, которая исходит из себя возможность физического труда. И корма и отдыха отмеривается ему именно столько, чтоб он был способен выполнить свой урок...»

И каждому слушателю ясно без всяких объяснений, что не о коне тут идет речь, а о подневольном народе.

«Коняге — солома, а Пустоплясам — овес», скажут рабочие, когда придет время и в хозяйской конторе начнут высчитывать с них штрафы, отнимая последние, кровавым потоком заработанные гроши.

Для многих читателей «Сказки» были первой книгой, которая открыла глаза на всю несправедливость, на всю жестокость и гниль буржуазного общества. В

ясных образах и простых, народных словах показывал великий писатель ненавистное ему долготерпение народное.

«Жили да были два генерала...» — начинал читать грамотей, и самый темный, самый забитый рабочий понимал, что «сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».

Вот очутились эти два генерала на необитаемом острове. На острове растут деревья, на деревьях — всякие плоды. Хочется есть генералу, да высоко висят яблоки. А взлезть на дерево не умеет. В ручье — рыба, в лесу — рябчики, тетерева, зайцы. Только не умеют их достать генералы: ни к какой работе не привыкли. И стали они искать мужика. Нашли, накинулись на него:

«Спишь, лежебок! Небось, и ухом не ведешь, что тут два генерала вторые сутки с голоду умирают! Сейчас марш работать!»

И стал мужик на них работать. И сам для себя веревку свил, и даже в ум ему не пришло — почему это должен он на генералов работать?

Каждый читатель-рабочий ставил этот вопрос перед собой: «Почему я даю тунеядцу себя эксплуатировать?» И сказки, с виду невинные сказки Щедрина подводили рабочих к революционной борьбе. Щедрин не делал никаких выводов из своих сказок, потому что иначе они не увидели бы света. Но выводы эти делал читатель. И он любил Щедрина за науку, за помощь.

«Сказки» проникали в самые глухие углы, их читали в рабочих казармах и в тюрьмах. Невинное их название нередко вводило в заблуждение начальство. Один старый революционер рассказывает о жандарме, который ни за что не хотел пропускать в тюрьму учебник политической экономии, потому что боялся всякой «политики», но беспрепятственно пропускал «Благонамеренные речи» Щедрина и уж совсем благодушно разрешал читать «Сказки».

Лишившись своего журнала, Салтыков не потерял своего читателя.

В 1889 году Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин умер. Среди множества присланных телеграмм и писем с выражением соболезнования по поводу тяжелой утраты особое место занимает письмо тифлисских рабочих, ярко рисующее невыносимо тяжелое положение



Коняга и Пустопясы.

Рисунок Кукрыниксы.

русских рабочих и значение щедринского творчества для них.

«Смерть Михаила Евграфовича опечалила всех искренне желающих добра и счастья своей родине,— пишут они. — ...Мы бы и раньше написали, но у нас мало свободного времени... Мы выросли в простой рабочей семье, куда пока мало проникает просвещение, но где ждут его и часто ищут, где на первом плане стоит нужда и горе и часто нет возможности от расстройства и усталости ни думать, ни читать...»

Дальше тифлисские пролетарии дают поразительно верную оценку творчеству Щедрина, которая показывает, как внимательно они читали, как чутко уловили основное в его произведениях. Рабочие называют свои любимые сказки: «Коняга», «Соседи», «Карась-идеалист» и «Путем-дорогой». «В его последних задушевных сказках... мы видим ясно темные и непонятные доселе стороны окружающей нас жизни». Тифлисские рабочие правильно поняли отношение сатирика к трудящимся. Они пишут, что Щедрин «любил и жалел простой народ». Рабочие скорбят, что больше не услышат «доброе, смелое слово», и заверяют, что его бессмертные рассказы будут ободрять трудящихся «на борьбу против зла, угнетения и на поиски правды и света». «Доброе» щедринское слово! Так рабочие характеризовали сказки — пожалуй, самое ядовитое из всего написанного Щедриным!

Безошибочным классовым чутьем тифлисские рабочие поняли и приняли гениального русского сатирика Салтыкова-Щедрина.

Письмо кончается трогательной припиской: «Во избежание случайностей мы подписываем свое количество вместо фамилий».

Подпись: «Двадцать три рабочих».

Ясно, о каких «случайностях» беспокоятся рабочие. Они не хотят называть свои фамилии жандармам. Но и Щедрина приходилось прятать свои мысли от жандармов.

У трудящихся и у Щедрина был общий враг.

ЖИВОЙ ЩЕДРИН

Однажды, когда Щедрин был очень болен, его навестила делегация от петербургского студенчества. С этой делегацией пришли к больному писателю и Александр Ильич и Анна Ильинична Ульяновы. В семье Ульяновых любили и постоянно перечитывали книги Щедрина. И младший брат, который во всем старался быть, «как Саша», разделял любовь Александра.

Владимир Ильич ценил в писаниях Щедрина остроту и яркость характеристик, глубокое знание русской жизни, беспощадность сатиры. Он любил его за силу ненависти к угнетению, лжи и лицемерию во всех видах; ему дорога была боль Щедрина за участь угнетенных народов России. На родине, в ссылке, и в эмиграции постоянно перечитывал он его «Сказки» и «Господ Головлевых», «Историю одного города» и «Губернские очерки».

В жизни Ленина не было мирных дней; и с кем бы он ни боролся — с защитниками самодержавия, с меньшевиками, с либералами всех мастей, с предателями пролетарской революции, — он неизменно пользовался всем арсеналом разящих снарядов, которые давала ему русская литература. И чаще всего в своих уничтожающих, насмешливых, гневных речах пользовался Ленин творчеством Щедрина. Гениальный вождь трудящихся постоянно употреблял его меткие слова, ядовитые характеристики. Трудно найти произведение Щедрина, которое не послужило бы Ленину оружием в борьбе. Вдохновенный оратор, Ленин зло издевался над политическими карасями и щуками либерализма; беспощадно высмеивал трусливых либералов, не знающих, чего им хочется: «то ли конституции, то ли севрюжины с хреном»; с гневом обрушивался на сановных Угрюм-Бурчеевых. Бандита и убийцу Троцкого он заклеил навеки именем самого гнусного, самого подлого из щедринских «героев» — именем предателя Иудушки. Могучим оружием стало творчество Щедрина в руках Ленина.

Это оружие и сегодня продолжает разить врага. В день, дорогой трудящимся всего мира, 25 ноября 1936 года, перед Чрезвычайным VIII Всесоюзным Съездом Советов выступил друг и соратник Ленина —

мудрый Сталин. Творец Конституции счастливого народа, он докладывал своей родной стране проект Основного Закона СССР. Он говорил о победах Страны Советов. Он говорил о том, как встречают эти победы за рубежом, в странах фашизма.

И все делегаты съезда дружно смеялись, когда Сталин рассказал, как господа журналисты в Германии критикуют наш проект Конституции. Да и как было тут не смеяться? Эти господа заявляли, что проект Конституции СССР — пустое обещание, обман. Больше того: они утверждали, что Советский Союз вообще не является государством. А раз так — какая же может быть у СССР Конституция?

Сталин поднял руку, чтобы успокоить раскаты смеха. И вдруг рассказал съезду сказку Щедрина о ретивом начальнике.

«В одном из своих сказок-рассказов,—говорил он,—великий русский писатель Щедрин дает тип бюрократа-самодура, очень ограниченного и тупого, но до крайности самоуверенного и ретивого. После того как этот бюрократ навел во «вверенной» ему области «порядок и тишину», истребив тысячи жителей и спалив десятки городов, он оглянулся кругом и заметил на горизонте Америку, страну, конечно, малоизвестную, где имеются, оказывается, какие-то свободы, смущающие народ, и где государством управляют иными методами. Бюрократ заметил Америку и возмутился: что это за страна, откуда она взялась, на каком таком основании она существует? Конечно, ее случайно открыли несколько веков тому назад, но разве нельзя ее снова закрыть, чтоб духу ее не было вовсе? И, сказав это, положил резолюцию: «Закрыть снова Америку»!»

Весь зал дрогнул от смеха. А когда улегся этот могучий смех, Сталин продолжал. Он говорил о том, что эти господа из фашистского журнала как две капли воды похожи на щедринского бюрократа. Девятнадцать лет стоит СССР, как маяк для рабочих всего мира. И, оказывается, СССР не только существует, но даже растет и даже сочиняет проект новой Конституции. Как же тут не возмущаться этим господам?

И вдруг старая щедринская сказка ожила, заиграла новым блеском. Словами щедринской сатиры Сталин высмеивал фашистских умников.

«Что это за страна, вопят они, на каком таком основании она существует, и если ее открыли в октябре 1917 года, то почему нельзя ее снова закрыть, чтоб духу ее не было вовсе? И сказав это, постановили: закрыть снова СССР, объявить во всеуслышание, что СССР, как государство, не существует...»

Но сказка не была кончена, и Сталин ее досказал.

«Кладя резолюцию о том, чтобы закрыть снова Америку, щедринский бюрократ, несмотря на всю свою тупость, все же нашел в себе элементы понимания реального, сказав тут же про себя: «Но, кажется, сие от меня не зависит». Я не знаю, хватит ли ума у господ из германского официоза догадаться, что «закрыть» на бумаге то или иное государство они, конечно, могут, но если говорить серьезно, то «сие от них не зависит»...»

И долго не смолкали в зале аплодисменты и дружный хохот. Новым смыслом наполнилась щедринская сказка, и до сих пор, читая в газетах о новых планах фашистов, об их злобном стремлении потушить великий маяк рабочего класса, кто не вспомнит спокойной усмешки вождя, кто не повторит с ним вместе: «Сие от них не зависит!»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Находка	5
Детство	8
Царское Село	14
Бунтарь	18
Начало творчества	23
Вятка и Крутогорск	28
Любовь и ненависть	32
«История одного города»	36
Иудушка	44
Лишенный языка	52
Сказки	55
Живой Щедрин	61

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Ответств. редактор В. ГЕБЕЛЬ. Художеств. редактор В. ПАХОМОВ.
Технический редактор Р. КРАВЦОВА. Корректоры Е. ВИЛЬТЕР и
Е. БАЛАБАН. •

Детиздат № 2268. Индекс Д-7. Формат 82 × 110¹/₃₂. 4 печ. л. (3,44 учетно-
лвт. листа). Тираж 25 000 экз. Сдано в производство 26/V 1939 г.
Подписано к печати 3/V 1 39 г. Уполномоч. Главлита А-9697. Зак. 754.

Фабрика детской книги Изд-ва детской литературы ЦК ВЛКСМ.
Москва, Сушевский вал, 49.

